Юлиан Семенов

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

КИНОЗАЛ



Режиссер Татьяна Лиознова, 1973

Семнадцать мгновений весны

Юлиан Семенович Семенов

Аннотация
Юлиан Семенов. Семнадцать мгновений весны. Роман
«Кто есть кто?»
«Кем они меня там считают?». (Задание)
Информация к размышлению. (Геринг)
Информация к размышлению. (Геббельс)
Информация к размышлению. (Гиммлер)
Информация к размышлению. (Гиммлер)
Расстановка сил
Информация к размышлению. (Даллес)
Информация к размышлению. (Шелленберг)
Информация к размышлению. (Черчилль)
Информация к размышлению. (Борман)
Мера доверия
Информация к размышлению. (Даллес)
Все ли готово в Берне?
Свой со своим?
Ритм нескольких минут
Алогизм логики
Благие намерения

Аннотация

Юлиан Семенович Семенов (1931–1993) – русский писатель, историк, поэт, журналист, автор культового романа «Семнадцать мгновений весны» (1970). На основе написанного самим Семеновым сценария был снят 12-серийный телефильм, премьера которого состоялась в 1973 году. Картина имела оглушительный успех и стала вечно живым хитом отечественного телевидения. Макс Отто фон Штирлиц (полковник советской разведки Максим Максимович Исаев), образ которого на экране воплотил Вячеслав Тихонов, завоевал огромную любовь миллионов читателей и зрителей, стал по-настоящему народным героем. В фильме был занят блестящий актерский ансамбль (достаточно упомянуть Олега Табакова, Леонида Броневого, Ростислава Плятта, Василия Ланового, Екатерину Градову), а режиссер Татьяна Лиознова виртуозно перевела на язык кинематографа текст замечательного литературного произведения.

Юлиан Семенов
Семнадцать мгновений весны
Роман

© Ю. С. Семенов (наследники), 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

* * *

★★★★★

КИНОЗАЛ

Юлиан Семенов

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

АЗБУКА

Санкт-Петербург

Памяти отца посвящаю

«Кто есть кто?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежезамороженной рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю — щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими — быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал дед.

И синицы отвечали ему — доверительно и ве-

село.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям — соловей».

Штирлиц посмотрел на часы.

«Клаус сейчас придет, — подумал Штирлиц. — Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота…»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера — своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, — говорил он, — снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей

бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа — начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

…Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

— Дружище, сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и,

если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете…

12.2.1945 (18 часов 38 минут)

«– Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет.

— В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да-да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

— Я говорю на своем языке.

— Значит, надо принять божеский закон по уничтожению обезьян?

— Скорее всего, нет.

— Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не даете ответа „да“ или „нет“, а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно „да“ и одно „нет“. У вас же есть „да нет“, „нет же“, „скорее всего нет“ и прочие фразеологические оттенки „да“. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

— Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно… И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

— Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, ин-

тересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

— Что значит — подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело — подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести… Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

— Пастор, мне неловко, — может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но… Вы что, были в свое время в гестапо?

— Ну что же я могу вам сказать? Я был там…

— Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

— Мало ли кто сидел в гестапо.

— А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-

то — вернувшихся, как вы, — единицы из миллионов… Не очень-то паства поверит вам… Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

— Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

— И что тогда?

— Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать — умереть внутренне.

— Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

— Господь судит. Останусь так останусь.

— Ваша религия против самоубийства?

— Потому-то я и не покончу с собой.

— Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

— Я буду верить не проповедуя.

— А почему вы не видите для себя другого выхода — трудиться вместе со всеми?

— Что вы называете „трудиться“?

— Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки — хотя бы.

— Если человек, кончивший богословский

факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории…

— Я лишь ставлю вопрос — а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение — так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

— Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, — бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим труд — труд духовный есть особо важный.

— Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

— Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

— Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток, которые жили в катакомбах Бремена и Гамбурга. Гитлеровское государство

назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.

— Мы не боимся правды жизни.

— Боитесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

— Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

— Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

— Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь, в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

— Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко

превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы — над схваткой, когда вы тоже в схватке?

— Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

— Вы очень материалистически спорите.

— Я спорю с материалистом.

— Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

— Я вынужден это делать.

— Послушайте... Во имя блага вашей паствы — мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

— С куревом у пастора было плохо? — спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна — громадного, во всю стену — и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за

хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц — из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда — изысканная и первоклассное, чаще всего американское, питье.

— Да, я там замучился без курева… Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака…

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет

Ломброзо[1] — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

— Ну? — спросил он. — Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

— Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

— Ну, это уж не стоит, — сказал Штирлиц, — это было бы неразумно.

— У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки…

— Я приготовлю вам хороших рыбных консервов. Какие вы хотите?

— Я люблю в масле…

— Это я понимаю… Какого производства? Нашего или…

— «Или», — засмеялся Клаус. — Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты,

---

[1] Сноски: 1

Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

и питье, сделанные в Америке или во Франции…

— Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные… Масса фосфора… Знаете, я вчера посмотрел ваше досье…

— Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом…

— Это не так интересно, как кажется… Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени — это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию… А в вашем досье — скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас… Нет, это неинтересно… Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе было арестовано девяносто семь человек… Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали…

— Зачем вы говорите мне об этом?

— Не знаю… Пытаюсь анализировать, что ли… Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

— А как вы думаете?

— Я не знаю.

— Черт его поймет… Я, видимо, чувствовал себя

сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка… То, что будет с ними потом, — не знаю… Что будет потом с нами? Со всеми?

— Тоже верно, — согласился Штирлиц.

— После нас — хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным… Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой…

Штирлиц спросил:

— Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

— Никто.

— Около девяти…

— Вы ошибаетесь, — ответил Клаус, — во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

— Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

— Вы наблюдали за его домом?

— Конечно. Все время… Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

— Будет. Вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряют-

ся моему напору, логике мышления…

— Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле… Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире… Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части…

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радиоаппарата. Они молчали, к ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

— Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха…»

— Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо.

— Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

— Спасибо, — сказал Клаус, — только денег ведь у меня много…

— Больше не помешает, а? Или помешает?

— Да в общем-то — не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить…

— Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

— Нечего вспоминать — никто.

— Я имею в виду и наших людей.

— Вообще-то, меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то — вряд ли… Я не видел никого…

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством — он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой — так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

— Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, — сказал Штирлиц. — И набросайте еще одно — пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

— «Честность подразумевает действие, — посмеиваясь, начал читать он, — вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну как? Ничего?

— Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

— Нет. Если бы я мог писать — разве бы я стал… — Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

— Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умей вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

— Что-то в этом роде.

— Не в этом роде, — поправил его Штирлиц, —

а именно это вы хотели сказать. Нет?

— Да.

— Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

— Квартира далеко?

— В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра…

Уже в машине Штирлиц спросил:

— О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?

— Я же говорил вам об этом — сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать…

— Правильно делали… И о Швейцарии он тоже молчал?

— Наглухо.

— Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны — это Штирлиц знал точно — находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки — раньше отсюда ловили рыбу — прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, — он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени…

12.2.1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года группенфюрера СС Крюгера:

«Истинный ариец, преданный фюреру. Характер – нордический, твердый. С друзьями – ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела…»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, на-

чальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

— У вас есть какое-либо оправдание — достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

— Нет, — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, — достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я — солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

— Не будьте бабой, — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. — Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина — безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

— Какое отношение к операции имел Штирлиц? — пожал плечами Кальтенбруннер. — Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

— Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, был ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

— Всю вину несу один я, — снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, — мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его

как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

— А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто — умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько тонких папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

— Нет, — сказал секретарь, — по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву…

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

— Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

— Сядьте, — сказал Кальтенбруннер, — вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все

об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу… Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка… И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо — там горячее место…

15.2.1945 (20 часов 30 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями

рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехт-штрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиола, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

— Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

— Неужели у вас нет глаз?! — кричал аст-

роном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить, как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь…

— Погодите, — сказал Штирлиц. — Крик — не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

— Что? — испуганно спросил астроном.

Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома: он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают — медленно.

— Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий — значительно труднее.

— Я отвергаю астрологию, — ответил ученый, — но я преклоняюсь перед астрономией. Меня лишили кафедры в Бонне…

— Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! — закричал Холтофф.

— Подождите, — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, — не надо кричать, право… Продолжайте, пожалуйста…

— Мы живем в год неспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество…

— Вы, вероятно, — спросил Штирлиц, — вывели какой-либо гороскоп?

— Гороскоп — это интуитивная, может быть даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на земле с небом и солнцем… И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины…

— Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, — сказал Штирлиц. — Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти

в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

— Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

— Но он говорит как настоящий англичанин с лондонского радио… Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

— Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, — пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек… Нет?

Холтофф усмехнулся:

— Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек…

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе…

15.2.1945 (20 часов 44 минуты)

«СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У ФЮРЕРА

Присутствовали:

Кейтель, Йодль, посланник Хавель – от Министерства иностранных дел, рейхсляйтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн – посланник ставки реихсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.

Борман. Кто там все время расхаживает? Это мешает! И потише, пожалуйста, господа военные.

Путкамер. Я попросил полковника фон Белова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится – и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану.

В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал…

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется – учитывая опыт Либавской операции – по крайней мере, полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы – для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России,

Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями – утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары – с другой. Учтите, Ста-

лину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и – в определенной мере – деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна – я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это – сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи – материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические

интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским – с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть – это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Висла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой; поддерживаемые штеттинской группировкой, они раз-

резают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина – это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и – практически – делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски армий – пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии…

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления

в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхсляйтер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы приготовим общую наметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем отработку всех деталей».

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стеногра-

фисток.

— Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта… Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал: „Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников“». Далее…

«Кем они меня там считают?» (Задание)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС…»)

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельс-

берге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице — сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, — черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

— Который час? — спросил Штирлиц.

— Около семи…

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка… Она может себе позволить это „около семи“. Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия… Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта…»

Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

— Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

— К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке.

— Господин штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него…

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

— Девочка… половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого…

— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов…

— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

— Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.

— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества… Как тебя зовут?

— Мари… Я ж говорила… Мари.

— Да-да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?

— Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.

— Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил: ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюдце.

«Я ей об этом не говорил. Или нет… Сказал. Мимоходом… Девочка умеет запоминать, — думал он, зажигая бересту, — мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет…»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его.

Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично — слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если «наци № 2» таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гиммлера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы.

Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? — подумал он. — Гением или всемогущим? Это же немыслимо…»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

> «*ЮСТАСУ*. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.
>
> В случае если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием.

Конкретно: кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом. *АЛЕКС*».

...За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на ближнюю дачу начальника разведки и сказал ему:

— Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому не опасной... Германия — это сжатая до предела пружина, которую должно и можно сломить, прилагая равно мощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирание, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар, во-первых, потому, что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому, что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, — продолжал Сталин, — вы должны отдать себе отчет в том, что

главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут, скорее всего, ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, который на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы — пеняйте на себя. ЧК беспощадна, — неторопливо закурив, добавил Сталин, — не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу — вольно или невольно…

Где-то далеко завыли сирены воздушной тревоги, и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки.

«Если закрыть вытяжку, — лениво подумал Штирлиц, — через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе… Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова — черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным.

И совсем без запаха… По-моему…»

Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна: какой-то странный пупырчатый сосуд вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжавших в Испанию, привозить ему цветные свечи: после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым.

Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза.

«Фугаски, — определил он. — Здоровые фугаски. Бомбят ребята славно. Просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши и следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно. Сашенька, — вдруг увидел он лицо жены. — Сашенька маленькая и Сашенька большой… Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына — погибать страшно. Идиоты пишут в романах: он

умер тихо, на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей, видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им…»

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтер-ден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом с молодым советским дипломатом, хмуро — по своей обычной манере — слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор.

«Светит фарами, — подумал он, — присматривается к противнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать как никто другой».

— Если вам все ясно в этом мире, — продолжал Шелленберг, — тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику…

— Кто из физиков или математиков, — го-

рячился секретарь посольства, — приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс.

«Ему надо было остановиться на вопросе, — отметил для себя Штирлиц, — а он не выдержал — сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать…»

— Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? — спросил Шелленберг. — Или вы отвергаете такую возможность?

— Наивно отвергать возможность. Категория возможности — парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, — снова отметил для себя Штирлиц. — Надо было отыграть… Спросить, например: „Вы не согласны с этим?“ А он не спросил и снова подставился под удар».

— Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятой возможности? Или вы против?

Штирлиц пришел на помощь.

— Немецкая сторона победила в споре, — констатировал он, — однако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы.

Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке — вопросами…

«Понял, братишечка?» — спрашивали глаза Штирлица, и по тому, как замер враз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят…

«Не сердись, милый, — думал он, глядя на отошедшего парня, — лучше это сделать мне, чем кому-то другому… Только не прав ты про амулет… Когда мне очень плохо и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет — медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос… Мне пришлось выбросить ее медальон — он был слишком русским, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос — золотисто-белых, ее, Сашенькиных, — со мной, и это мой амулет…»

Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией — сначала в Шанхай, потом в Париж. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем; она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я»…

Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове, поздней ночью. Он вспомнил, как «Гришанчиков» приходил к нему в гостиницу и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва — так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном — из Берлина до Праги всего шесть часов езды — может поставить его под удар…

В сорок втором году во время бомбежки под Великими Луками убило шофера Штирлица — тихого, вечно улыбавшегося Фрица Рошке. Парень был честный; Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из IV отдела РСХА весьма настойчиво.

Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в дом под Карлсхорстом, где жила вдова Рошке. Женщина лежала в нетопленом доме и бредила. Полуторагодовалый сын Рошке Генрих ползал по полу и тихонько плакал: кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача.

Женщину увезли в госпиталь: крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе; его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его горячим молоком, хотела было положить у себя.

— Постелите ему в спальне, — сказал Штирлиц, — пусть он будет со мной.

— Дети очень кричат по ночам.

— А может быть, я именно этого и хочу, — тихо ответил Штирлиц, — может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети.

Старушка посмеялась: «Что может быть в этом приятного? Одно мученье».

Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганый халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица — оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала: «Да он ли это?» Лицо Штирлица — обычно жесткое, моложавое — сейчас было очень старым и даже,

пожалуй, женственным.

Наутро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе — без молока и сахара, потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе — теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услыхал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика.

— Мне говорил племянник, — улыбнулась экономка, — что только русские кладут детей к себе в кровать…

— Да? — удивился Штирлиц. — Почему?

— От свинства…

— Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? — хохотнул Штирлиц.

Экономка смешалась, покрылась красными пятнами.

— О господин Штирлиц, как можно… Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты…

Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рошке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость: теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом рейха: детский дом, потом концлагерь, а после — печь…

Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки.

— Вы правы, — посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, — маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин…

Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно — приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы, к новым людям — значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие, добрые песни.

— Я понимаю, — закончил Штирлиц, — вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?

Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли.

— О нет, — сказала она, — я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен.

Она даже и не поняла: сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он снова понял ее мысли.

…Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листков бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пасьянса. На одном листе бумаги он нарисовал толстого, высокого человека. Он хотел подписать внизу — Геринг, но делать этого не стал.

На втором листке он нарисовал лицо Геббельса, на третьем — сильное, со шрамом лицо: Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке: «рейхсфюрер СС». Это был титул его шефа, Генриха Гиммлера.

…Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным — сродни актеру; но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике, жестокой и четкой.

Штирлиц, когда ночью, да и то изредка, позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так: что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в Центр — для политического обобщения и принятия решения? Или сделать *свои*, сугубо индивидуальные выводы, наметить *свою* перспективу, предложить *свои* выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений — мало. Очень плохо, считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии: так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского

Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных — Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчинить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных, наиболее, с его точки зрения, целесообразных решений.

Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний, он не имеет права на одно только: он не имеет права сомневаться в их полной объективности.

Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все свои «за» и «против»: вопрос шел о судьбах Европы, и ошибиться в анализе никак нельзя.

Информация к размышлению (Геринг)

Боевой летчик Первой мировой войны, герой кайзеровской Германии, Геринг после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком гражданской авиации, и однажды, в страшный шторм, он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Роклштадт, там познакомился с дочерью полковника фон Фока, Кариной фон Катцов, отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно: он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяин отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом рейхстага вместе с другими одиннадцатью нацистами. Гитлер баллотироваться не мог: он был австриец.

Карина писала своей матери в Швецию: «В рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной гвардии — со звездами Давида и с красными звездами, впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму: „Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев“».

Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы, он оставался только членом рейхстага. Его тогдашняя задача: наладить связи с сильными мира сего — партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе: там принимал принца Гогенцоллерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импонировала всем — дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму.

Каждый раз перед приемом рано утром приезжал партайляйтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между

партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни: в доме лидера нацистов не переносили разнузданных ритмов американского или французского джаза.

Именно сюда, в особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тиссен. Именно этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии «сбросить иго коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа».

После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры:

— Геринг перестал быть Германом, он стал президентом… Он не принимает товарищей по партии, их унизительно ставят на очереди в его канцелярии… Он погряз в роскоши…

Сначала об этом говорили вполголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхалле, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари — Лей

и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке.

— Роскошь засасывает, — говорил он, — Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам.

Гитлер поехал в Каринхалле, осмотрел этот замок и сказал:

— Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатам. Пусть Каринхалле будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть! Герман это заслужил. Будем считать, что Каринхалле принадлежит народу, а Геринг только живет здесь…

Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюля Верна и Карла Мэя — это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале: он мог смотреть по пять приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей.

— Не волнуйтесь, — говорил он, — конец будет хороший…

Отсюда, из Каринхалле, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен — принимать капитуляцию Чемберлена, в Варшаву — наблюдать расстрелы в гетто, в Жи-

томир — планировать уничтожение славян…

В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало триста вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, поседевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга: в налете принимало участие восемьсот бомбардировщиков, а люфтваффе было бессильно и ничего не смогло сделать для того, чтобы спасти город.

Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробегала по его лицу. Потом он взорвался:

— «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии»?! — нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. — Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию?! Я читал в книгах об азартных карточных играх — мне знакомо понятие блефа! Германия не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг! Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ! Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага! Призвание вождя —

это величие нации! Удел вождя — скромность! Профессия вождя — точное соотнесение обещаний с их выполнением!

Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке.

Итак, в 1942 году впервые Геринг, «наци № 2», официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унизительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гиммлера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера.

Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался: Геринг. Без инициалов. Перепуган-

ный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей: один из них был профессором, а второй — подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата: он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятном анекдоте.

Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману:

— Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику, во-вторых, он популярен в народе, и в-третьих, он — главный объект для карикатур во вражеской печати.

Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти, о человеке, который совершенно искренне сказал — и не кому-нибудь, а жене, и не для диктофонов — он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, — а ночью, в постели:

— Не я живу, но фюрер живет во мне…

15.2.1945 (22 часа 32 минуты)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года обергруппенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера:

«Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин: связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором…»)

Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи ничего путного не вышло: он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хохдойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, — по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука; в горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик: сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали

острое чувство растерянности и замешательства.

Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:

— Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое: Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу краковской операции. Он был там, но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе: он занимался исчезнувшим ФАУ, но он не нашел его, ФАУ исчез, и я молю Бога, чтобы он утонул в привисленских болотах. Третье: он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать — это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно… Четвертое: блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую

Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений.

Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток:

— У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован.

— То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?

В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их.

— Почему же… — ответил он. — Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат? Больше у вас нет никаких фактов? — спросил Мюллер.

Кальтенбруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими, багровыми.

— Как вам сказать, — ответил он, вытирая слезы. — Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных,

о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин… А Штирлиц отвечает: «Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе… Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: «А вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с оппозиционерами или иными негодяями?» Я не смог себе ответить точно — ни в положительном, ни в отрицательном аспекте.

Мюллер спросил:

— Сначала вы посмотрите его досье или сразу взять мне?

— Возьмите сразу вы, — схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы. — Я должен ехать к фюреру.

Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтен-

бруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку «Наполеона», придвинул рюмку Мюллеру и спросил:

— Вы сильно пили?

— Совсем не пил.

— А что глаза красные?

— Я не спал — было много работы по Праге: наши люди там повисли на «хвосте» у подпольных групп.

— Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас.

— От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку.

— От этого не осовеете, — улыбнулся Кальтенбруннер и поднял свою рюмку. — Прозит!

Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх.

«Он здорово пьет, — отметил Мюллер, выцеживая свой коньяк, — сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку».

Кальтенбруннер закурил самые дешевые, крепкие сигареты «Каро» и спросил:

— Ну, хотите повторить?

— Спасибо, — ответил Мюллер, — с удовольствием.

Информация к размышлению (Геббельс)

Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была расположена киностудия рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене:

— Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными чешками!

Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись.

— Я поддержу вас, — сказал он, — а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту — человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах…

Сейчас все ушло на задний план. В январе этого

года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал:

— Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы: гауляйтер Берлина партайгеноссе Геббельс закрыл все цветочные магазины — тотальной войне не нужны цветы…

Когда через сорок минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала:

— К Герингам фюрер никогда бы не поехал…

Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в ста сорока километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья: после шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом…

Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер, и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была

феноменальная: он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий.

«…В Англии эпидемия гриппа, — записывал Геббельс. — Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой.

2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 000 бутылок шампанского, у этого национал-социалиста! Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть».

Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово, сказал о Геббельсе. Это было в сорок втором году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей, в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном «для работы». Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам — воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы: они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс

считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спало, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть…»

(В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок шестьдесят тысяч евреев, работавших в промышленности; именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить три миллиона чехов — вместо полутора миллионов, как было запланировано; именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда…)

«Геринг говорил мне, — продолжал Геббельс в своих дневниках, — о том, что Африка нам не нужна. „Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе“. Он направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал,

как британская плутократия может сотрудничать с большевиками, особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу двадцатипятилетия Красной армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно.

Геринг говорит: „Наши поражения на востоке эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы, а это ложь! Паулюс — герой?! Да он же скоро будет выступать по московскому радио! Зачем мы врем народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца, сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем пятьдесят обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда во время кризисов в партии, его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти!“

Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграй мы войну: один еврейский вопрос чего стоит!

— Война кончится политическим крахом, — согласился я с ним.

Тут я ему и предложил вместо „комитета трех“ создать совет по делам обороны рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гиммлера. Функ и Лей побеждены мной. Шпеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже.

9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу. Встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах. Сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией.

12 марта 1943 года. Я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репараций к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясет немцев. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Фран-

цию суверенной страной и не распространять на нее пропаганду партии. Слава богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять.

12 апреля 1943 года. Выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрейлассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелла, и он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпеера.

20 апреля 1943 года. Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции в Оберзальцберге. Ему не понравилась атмосфера. Он не верит, что Геринг может быть руководителем дел рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения. Он считает, что, когда партийные авторитеты объединены на благо родины, от этого выигрывает только он и партия. Пришел Шпеер. Считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширах, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому в своих выступлениях торпедирует идею тотальной войны…»

Штирлиц скомкал листки с изображениями Ге-

ринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил.

«Геббельс явно провоцировал Геринга. А в дневнике писал для себя и для потомства — слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик, он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу?»

Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка: Гиммлер и Борман.

«Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс? Нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух: Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры: он знает, какой ненавистью окружено его имя… Да, на Гиммлера…»

Именно в это время Геринг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каринхалле из бункера

фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру.

— На фронте нет никакой организации, — говорил он, — полный развал. Глаза солдат бессмысленны. Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армию ужас, животный ужас… Я считаю…

Гитлер слушал его, полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась.

— Я считаю… — повторил Геринг.

Но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении.

— Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт! — сказал он своим прежним, сильным голосом. — Я запрещаю вам распространять панику!

— Это не паника, а правда, — впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг и сразу же почувствовал, как у него захолодели пальцы ног и рук. — Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду!

— Замолчите! Занимайтесь лучше авиацией, Геринг. И не лезьте туда, где нужно иметь

спокойную голову, провидение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт — отныне и навсегда.

Геринг был раздавлен и уничтожен, он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества — адъютанты фюрера.

В Каринхалле его уже ждали штабисты люфтваффе: он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось: адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер.

— Он просит разговора наедине, — сказал адъютант с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих.

Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом без всякого перехода сказал:

— Фюрер больше не может быть вождем нации.

— А что же делать? — машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС.

— Вообще-то, в бункере войска СС, — так же спокойно, ровным своим голосом продолжал

Гиммлер, — но не в этом в конечном счете дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу.

Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в сорок четвертом его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала: «Лучше приезжай к нам, говорить по телефону рискованно, нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак: «Не говори так, это безумие». И сейчас он смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон и что этот разговор через два часа будет проигран фюреру. И тогда — конец.

«Он может говорить все, что угодно, — думал Геринг о Гиммлере, — отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию».

Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает «наци № 2». Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему. Он сказал:

— Вы — преемник, следовательно, вы — президент. Таким образом, я — рейхсканцлер.

Он понимал, что нация не пойдет за ним как за

вождем СС. Нужна фигура прикрытия.

Геринг ответил — тоже автоматически:

— Это невозможно… — Он помедлил мгновение и добавил очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке: — Это невозможно. Один человек должен быть и президентом, и канцлером.

Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и неслышно вышел из библиотеки…

15.2.1945 (23 часа 54 минуты)

Штирлиц спустился из кабинета в гараж. По-прежнему бомбили, но теперь где-то в районе Цоссена — так ему, во всяком случае, казалось. Штирлиц открыл ворота, сел за руль и включил зажигание. Усиленный мотор его «хорьха» заурчал ровно и мощно.

«Поехали, машинка», — подумал он по-русски и включил радио. Передавали легкую музыку. Во время налетов обычно передавали веселые песенки. Это вошло в обычай: когда здорово били на фронте или сильно долбали с воздуха, радио передавало веселые, смешные программы. «Ну, едем, машинка. Быстро поедем, чтобы не попасть

под бомбу. Бомбы чаще всего попадают в неподвижные цели. Поедем со скоростью семьдесят километров: значит, вероятность попадания уменьшится именно в семьдесят раз…»

Его радисты — Эрвин и Кэт — жили в Кепенике, на берегу Шпрее. Они уже спали, и Эрвин, и Кэт. Они в последнее время ложились спать очень рано, потому что Кэт ждала ребенка.

— Ты славно выглядишь, — сказал Штирлиц, — ты относишься к тем редким женщинам, которых беременность делает неотразимыми.

— Беременность делает красивой любую женщину, — ответила Кэт, — просто ты не имел возможности это замечать…

— Не имел возможности, — усмехнулся Штирлиц, — это ты верно сказала.

— Тебе кофе с молоком? — спросила Кэт.

— Откуда молоко? Я забыл привезти вам молока… Черт…

— Я выменял на костюм, — ответил Эрвин. — Ей надо обязательно хоть немного молока.

Штирлиц погладил Кэт по щеке и спросил:

— Ты поиграешь нам что-нибудь?

Кэт села к роялю и, перебрав ноты, открыла Баха. Штирлиц отошел к окну и тихо спросил Эрвина:

— Ты проверял, они тебе не всадили какую-нибудь штуку в отдушину?

— Я проверял, ничего нет. А что? Твои братья в СД уже изобрели новую гадость?

— А черт их знает.

— Ну? — спросил Эрвин. — Что?

Штирлиц хмыкнул и покачал головой.

— Понимаешь, — медленно заговорил он, — я получил задание… — Он снова хмыкнул. — Мне следует наблюдать за тем, кто из высших бонз собирается выйти на сепаратные переговоры с Западом. Они имеют в виду гитлеровское руководство, не ниже. Как тебе задача, а? Веселая? Там, видимо, считают, что если я не провалился за эти двадцать лет, значит, я всесилен. Неплохо бы мне стать заместителем Гитлера. Или вообще пробиться в фюреры, а? Я становлюсь брюзгой, ты замечаешь?

— Тебе это идет, — ответил Эрвин.

— Как ты думаешь рожать, девочка? — спросил Штирлиц, когда Кэт перестала играть.

— По-моему, нового способа еще не изобрели, — улыбнулась женщина.

— Я говорил позавчера с одним врачом-акушером… Я не хочу вас пугать, ребята… — Он подошел поближе к Кэт и попросил: — Играй,

малыш, играй. Я не хочу вас пугать, хотя сам здорово испугался. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить происхождение любой женщины.

— Я не понимаю, — сказал Эрвин.

Кэт оборвала музыку.

— Не пугайся. Сначала выслушай, а после станем думать, как вылезать из каши. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов.

— Спасибо, — ответила Кэт, — а я думала, они поют песенки.

Штирлиц покачал головой, вздохнул:

— Понимаешь, они кричат на родном языке. На диалекте той местности, где родились. Значит, тебе предстоит кричать «мамочка» по-рязански…

Кэт продолжала играть, но Штирлиц увидел, как глаза ее — вдруг сразу — набухли слезами.

— Что станем делать? — спросил Эрвин.

— А если отправить вас в Швецию? Я, пожалуй, смогу это устроить.

— И останешься без последней связи? — спросила Кэт.

— Здесь буду я, — сказал Эрвин.

Штирлиц отрицательно покачал головой:

— Одну тебя не выпустят. Только если вместе

с ним: он, как инвалид войны, нуждается в лечении в санатории, есть приглашение от немецких родственников из Стокгольма… Одну тебя не пустят. Ведь его дядя у нас числится шведским нацистом, а не твой…

— Мы останемся здесь, — сказала Кэт, — ничего. Я стану кричать по-немецки.

— Можешь добавлять немного русской брани, но обязательно с берлинским акцентом, — пошутил Штирлиц. — Решим это завтра: подумаем не спеша и без героических эмоций. Поехали, Эрвин, надо выходить на связь. В зависимости от того, что мне завтра ответят, мы и примем решение.

Через пять минут они вышли из дома. Эрвин в руке держал чемодан, в чемодане была рация. Они отъехали километров пятнадцать, к Рансдорфу, и там, в лесу, Штирлиц выключил мотор. По-прежнему продолжалась бомбежка. Эрвин посмотрел на часы и сказал:

— Начали?

— Начали.

«*АЛЕКСУ*. По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС. Однако,

поскольку задание получено, приступаю к его реализации.

Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Мой „донос“ Гиммлеру – частности я организую здесь, на месте, без консультаций с вами – поможет мне информировать вас обо всех новостях как в плане подтверждения вашей гипотезы, так и в плане опровержения ее. Иного пути в настоящее время не вижу. В случае одобрения прошу передать „добро“ по каналу Эрвина. *ЮСТАС*».

Это донесение произвело в Москве впечатление разорвавшейся бомбы.

— Он на грани провала, — сказал руководитель Центра. — Если он пойдет напрямую к Гиммлеру — провалится сразу же, ничто его не спасет. Даже если предположить, что Гиммлер решит поиграть им… Хотя вряд ли, не та он фигура для игр рейхсфюрера СС. Передайте ему завтра утром

немедленный и категорический запрет.

То, что знал Центр, Штирлиц знать не мог, потому что сведения, подобранные Центром за несколько последних месяцев, давали совершенно неожиданное представление о Гиммлере.

Информация к размышлению (Гиммлер)

Он проснулся сразу — словно ощутив толчок в плечо. Он сел на кровати и быстро огляделся. Было очень тихо. Светящиеся стрелки маленького будильника показывали пять часов.

«Рано, — подумал Гиммлер, — надо еще поспать хоть часок».

Он зевнул и повернулся к стене. В открытую форточку доносился шум леса. С вечера шел снег, и Гиммлер представил себе, какая сейчас красота в этом тихом, пустом, зимнем лесу. Он вдруг подумал: ему было бы страшно одному уйти в лес — так страшно, как в детстве.

Гиммлер поднялся с кровати, накинул халат и пошел к столу. Не зажигая света, сел на краешек деревянного кресла и опустил руку на трубку черного телефона.

«Надо позвонить дочери, — подумал он. — Девочка обрадуется. У нее так мало радостей».

Под стеклом большого письменного стола лежало большое фото: двое мальчишек улыбались озорно и беззаботно.

Гиммлер неожиданно ясно увидел Бормана и подумал, что этот негодяй виноват в том, что он не может сейчас позвонить дочери и сказать: «Здравствуй, крыска, это папа. Какие сны ты видела сейчас, солнце мое?» Он не может позвонить и мальчикам из-за того, что они родились не от законного брака. Гиммлер помнил, как Борман молчал, когда в сорок третьем году он попросил в долг из партийной кассы восемьдесят тысяч марок, чтобы построить Марте, матери двух своих мальчиков, небольшую виллу в Баварии, подальше от бомбежек. Он помнил, как фюрер, узнав об этом от Бормана, несколько раз недоуменно разглядывал его во время обедов в ставке. Он из-за этого не смог развестись с женой, хотя не жил в семье уже шесть лет.

«Борман здесь ни при чем, — продолжал думать Гиммлер, — я не прав. В этом моем горе толстая скотина ни при чем. Я бы пошел на все унижения, связанные с разводом. Я бы пошел на развод, хотя устав СС относится отрицательно к разрушению семьи. Но я никогда не смог бы травмировать девочку».

Гиммлер улыбнулся, вспомнив самое начало, когда было голодно и когда он жил с женой в маленькой, темной и холодной комнате в Нюрнбер-

ге. Всего восемнадцать лет тому назад. Он тогда был секретарем у Грегора Штрассера, «брата» фюрера. Он мотался по Германии, спал на вокзалах, питался хлебом и бурдой, именовавшейся кофе, налаживая связи между партийными организациями. Тогда, в 1927 году, он еще не понимал, что идея Штрассера — создать охранные отряды СС — была рождена начинавшейся борьбой против Рэма, вождя СА. Гиммлер тогда верил, что создание СС необходимо для охраны вождей партии от красных. Он тогда всерьез верил, что главная задача красных — уничтожить великого вождя, единственного друга трудящихся немцев Адольфа Гитлера. Он повесил над своим столом огромный портрет Гитлера. Когда однажды Гитлер заехал к Штрассеру и увидел под своим громадным портретом худенького веснушчатого молодого человека, он сказал:

— Стоит ли одного из лидеров партии так высоко поднимать над остальными национал-социалистами?

Гиммлер ответил:

— Я состою в рядах партии, у которой не лидер, а вождь!

Гитлер запомнил это.

Предлагая фюреру назначить Гиммлера рейхс-

фюрером вновь организовавшихся отрядов СС, Штрассер рассчитывал, что СС будут служить в первую голову ему, Штрассеру, в его борьбе против Рэма — за влияние на партию и на фюрера. Двести первых эсэсовцев объединились под его началом, всего двести. Но без СС не было бы победы фюрера в 1933 году — Гиммлер отдавал себе в этом отчет. Однако после победы фюрер назначил его всего лишь главой криминальной полиции Мюнхена. К Гиммлеру приехал Грегор Штрассер, человек, принимавший его в партию, выдвинувший идею создания отрядов СС, теоретик и идеолог партии. К тому времени Штрассер находился в оппозиции к фюреру, прямо заявляя ветеранам партии, что Гитлер продался денежным тузам тяжелой индустрии, этим кровавым капиталистам Круппу и Тиссену. «Народ пошел за нами только потому, что мы объявили священную войну денежным тузам — и еврейского, и немецкого происхождения. Гитлер вошел с ними в контакт. Он плохо кончит, Генрих, — говорил тогда Штрассер, — СС могут стать еще большей силой, и в вашей власти вернуть движение к его честному и благородному началу».

Но Гиммлер тогда оборвал Штрассера, сказав ему, что верность фюреру — долг каждого члена

НСДАП.

— Вы можете вынести ваши сомнения на съезд, но вы не имеете права использовать ваш авторитет в оппозиционной борьбе — это наносит ущерб священному единству партии.

Гиммлер тщательно наблюдал за тем, что происходит в центре. Он видел, что упоение победой отодвинуло — в определенной мере — практическую работу на задний план, что вожди партии в Берлине выступают на митингах, проводят ночи на дипломатических приемах — словом, пожинают сладкие плоды национальной победы. Гиммлер считал, что это все преждевременно. И он за какой-то месяц организовал в Дахау первый показательный концентрационный лагерь.

— Это хорошая школа трудового воспитания истинной германской гражданственности у тех восьми миллионов, которые голосовали за коммунистов, — говорил Гиммлер. — Нелепо сажать все эти восемь миллионов в концлагеря. Надо сначала создать атмосферу террора в одном лагере и постепенно выпускать оттуда сломавшихся. Эти отпущенники будут лучшими агитаторами практики национал-социализма. Они смогут внушить и друзьям, и детям религиозное послушание нашему режиму.

Личный представитель Геринга много часов провел в Дахау, а после спросил Гиммлера:

— Не кажется ли вам, что концлагерь вызовет резкое осуждение в Европе и Америке — хотя бы в силу того, что эта мера антиконституционна?

— Почему вы считаете арест врагов режима неконституционным?

— Потому что большинство людей, арестованных вами, не были даже в здании суда. Никакого обвинительного заключения, никакого намека на законность…

Гиммлер обещал подумать над этим вопросом. Представитель Геринга уехал, а Гиммлер написал личное письмо Гитлеру, в котором обосновал необходимость арестов и заключения в концлагеря без суда и следствия.

«Это, — писал он фюреру, — всего лишь гуманное средство спасти врагов национал-социализма от народного гнева. Не посади мы врагов нации в концлагеря, мы не могли бы отвечать за их жизнь: народ устроил бы самосуд над ними».

В тот же день Гиммлер собрал грандиозный митинг и сказал все это там, слово в слово, и назавтра его речь была напечатана во всех газетах.

А когда в конце 1933 года в берлинской полиции, подчиненной непосредственно Герингу,

разразился скандал со взяточниками, Гиммлер ночью выехал из Мюнхена и утром получил аудиенцию у фюрера. Он просил отдать «продажную, старорежимную полицию» под контроль «лучших сыновей народа» — СС.

Гитлер не хотел обижать Геринга. Он просто крепко пожал Гиммлеру руку и, проводив его до дверей кабинета, близко, изучающе заглянул в глаза и вдруг, весело улыбнувшись, заметил:

— В будущем все-таки присылайте ваши умные предложения на день пораньше: я имею в виду вашу записку мне и идентичное выступление на митинге в Мюнхене.

Гиммлер уехал расстроенным. Но спустя месяц без вызова в Берлин он был назначен шефом политической полиции Мекленбурга и Любека; еще через месяц, двадцатого декабря, шефом политической полиции Бадена, двадцать первого декабря — Гессена, двадцать четвертого декабря — Бремена, двадцать пятого — Саксонии и Тюрингии, двадцать седьмого — Гамбурга. За одну неделю он стал шефом полиции Германии, исключая Пруссию, по-прежнему подчинявшуюся Герингу.

Гитлер однажды предложил Герингу компромисс: назначить Гиммлера шефом секретной

полиции всего рейха, но с подчинением его Герингу. Рейхсмаршал принял это компромиссное предложение фюрера. Он дал указание своему секретариату провести через канцелярию фюрера решение о присвоении Гиммлеру титула заместителя министра внутренних дел и шефа секретной полиции с правом участия в заседаниях кабинета, когда обсуждались вопросы полиции. Фразу «и безопасности рейха» он вычеркнул собственноручно. Это было бы слишком много для Гиммлера.

Как только Гиммлер увидал это напечатанным в газетах, он попросил сотрудников, ведавших прессой, прокомментировать свое назначение иным образом. Геринг допустил главную ошибку, пойдя на компромисс: он забыл, что никто еще не отменил главный титул Гиммлера — рейхсфюрер СС. И вот назавтра все центральные газеты вышли с комментарием: «Важная победа национал-социалистской юриспруденции — объединение в руках рейхсфюрера СС Гиммлера криминальной, политической полиции, гестапо и жандармерии. Это предупреждение всем врагам рейха: карающая рука национал-социализма занесена над каждым оппозиционером, над каждым противником — внутренним и внешним».

Он перебрался в Берлин, на шикарную виллу «Ам доннерстаг», рядом с Риббентропом. И пока продолжалось ликование по случаю победы над коммунистами, Гиммлер вместе со своим помощником Гейдрихом начал собирать досье. Досье на своего бывшего шефа Грегора Штрассера Гиммлер вел лично. Он понял, что победить в полной мере он сможет, только пролив кровь Штрассера — своего учителя и первого наставника. Поэтому он с особой тщательностью собирал по крупицам все, что могло подвести Штрассера под расстрел.

В июне 1934 года Гитлер вызвал Гиммлера для беседы по поводу предстоящих антирэмовских акций. Гиммлер ждал этого. Он понимал, что акция против Рэма только повод к уничтожению всех тех, с кем начинал Гитлер. Для тех, с кем он начинал, Адольф Гитлер был человеком, братом по партии, теперь же Адольф Гитлер должен стать для немцев вождем и богом. Ветераны партии стали для него обузой.

Гиммлер ясно понимал это, слушая, как Гитлер метал громы и молнии по адресу той «абсолютно незначительной части ветеранов», которые попали под влияние вражеской агитации. Гитлер не мог говорить всю правду никому, даже бли-

жайшим друзьям. Гиммлер понимал и это, он помог фюреру: положил на стол досье на четыре тысячи ветеранов, практически на всех тех, с кем Гитлер начинал строить национал-социалистскую партию. Он психологически точно рассчитал, что Гитлер не забудет этой услуги: ничто так не ценится, как помощь в самооправдании злодейства.

Но Гиммлер пошел еще дальше: поняв замысел фюрера, он решил стать в такой мере ему необходимым, чтобы будущие акции подобного рода проходили только по его инициативе.

Поэтому по дороге на дачу Геринга Гиммлер разыграл спектакль: подставной агент в форме рэмовского СА выстрелил в открытую машину фюрера, и Гиммлер, закрыв вождя своим телом, закричал — первым в партии:

– *Мой фюрер*, как я счастлив, что могу отдать свою кровь за вашу жизнь!

До этого никто не говорил «мой фюрер». Гиммлер стал автором обращения к «богу», к «своему богу».

— Вы с этой минуты мой кровный брат, Генрих, — сказал Гитлер, и эти его слова услышали люди, стоявшие вокруг.

А после того как Гиммлер провел операцию

по уничтожению Рэма, после того как был расстрелян его учитель Штрассер и еще четыре тысячи ветеранов партии, борзописцы немедленно сочинили миф о том, что именно Гиммлер стоял рядом с фюрером с самого начала движения.

Впоследствии, дружески пожимая руки Герингу, Гессу и Геббельсу на «тафельрунде» у фюрера, куда допускались только самые близкие, Гиммлер ни на минуту не прекращал собирать досье на «своих боевых друзей».

16.2.1945 (03 часа 12 минут)

Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он уставал после каждого сеанса связи с Центром.

Дорога шла через лес. Ветер стих. Небо было чистое, звездное, высокое.

«Хотя, — продолжал рассуждать Штирлиц, — Москва права, допуская возможность переговоров. Даже если у них нет никаких конкретных данных — такой допуск возможен, поскольку он логичен. В Москве знают о той грызне, которая идет тут вокруг фюрера. Раньше эта грызня была целенаправлена: стать ближе к фюреру. Теперь возможен обратный процесс. Все они — и Геринг,

и Борман, и Гиммлер, и Риббентроп — заинтересованы в том, чтобы сохранить рейх. Сепаратный мир для каждого из них — если кто-либо из них сможет его добиться — будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае пятьдесят миллионов немцев — лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, СС, они могут повернуть рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности…»

Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперек дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат.

— Документы, — сказал мотоциклист.

Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил:

— А в чем дело?

Мотоциклист посмотрел его удостоверение и, козырнув, ответил:

— Нас подняли по тревоге. Ищем радистов.

— Ну и как? — спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. — Пока ничего?

— Ваша машина — первая.

— Хотите заглянуть в багажник? — улыбнулся Штирлиц.

Мотоциклисты засмеялись:

— Впереди две воронки, осторожнее, штандартенфюрер.

— Спасибо, — ответил Штирлиц. — Я всегда осторожен…

«Это после Эрвина, — понял он, — они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя в принципе правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии».

Он объехал воронки — они были свежие: в ветровик пахнуло тонким запахом гари.

«Вернемся к нашим баранам, — продолжал думать Штирлиц. — Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукрыниксы и Ефимов. Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю: личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того как я отработаю высшие сферы рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпееру: человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер; наверняка он серьезный политик, а этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался».

Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно — часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда оттого, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина — и дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому маленькому озеру: одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны, и белый песок, и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо — чем

дальше, тем больше, — он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить… Когда в двадцать втором году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками Белой армии и поначалу работал по разложению эмиграции изнутри — в Японии, Маньчжурии и Китае, ему не было так трудно, потому что в этих азиатских странах ничто не напоминало ему дом: природа там изящней, миниатюрней, она аккуратна и чересчур красива. Когда же он получил задание Центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там в германском консульстве в Сиднее заявить о себе, о фон Штирлице, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ ностальгии — в поездке на попутной машине из Сиднея в Канберру. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину, но, когда машина остановилась на семьдесят восьмой миле, возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сандвичей и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России, — они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом. Получив новый паспорт и проработав год в Сиднее в отеле у хозяина-нем-

ца, который деньгами поддерживал нацистов, Штирлиц переехал по его просьбе в Нью-Йорк, там устроился на работу в германское консульство, вступил в члены НСДАП, там выполнил первые поручения секретной службы рейха. В Португалию его перевели уже официально — как офицера СД. Он там работал в торговой миссии до тех пор, пока не вспыхнул мятеж Франко в Испании. Тогда он появился в Бургосе в форме СД — впервые в жизни. И с тех пор жил бóльшую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные командировки: то в Загреб, то в Токио (там перед войной он в последний раз видел Зорге), то в Берн. И единственное место, куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал себя дома, здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. Привыкший анализировать и события, и людей, и мельчайшие душевные повороты в себе самом, он вывел, что тяга именно в этот сосновый лес изначально логична и в этой тяге нет ничего мистического, необъяснимого. Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приготовленный экономкой завтрак: несколько бутербродов с колбасой и сыром, фля-

гу с молоком и термос с кофе. Он в тот день взял спиннинг — была пора щучьего жора — и две удочки. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа, — в таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес, разложил на пледе свой завтрак — аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и беспокойно. Он вспомнил такую же траву, и такой же синий лес, и руки няни — он помнил только ее пальцы, длинные и ласковые, и такой же черный хлеб, и молоко в глиняной кружке, и осу, которая ужалила его в шею, и белый песок, и воду, к которой он с ревом кинулся, и смех няни, и тонкий писк мошки в предзакатном белом небе…

«Зачем я остановился? — подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по темному шоссе. — А, я хотел отдохнуть… Вот я и отдохнул. Не забыть бы завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алек-

са, взять консервированное молоко. Наверняка я забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину, и обязательно на переднее сиденье».

Информация к размышлению (Гиммлер)

Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну: зимний лес был поразительно красив — снежные лапы искрились под лунным светом, тишина лежала над миром.

Гиммлер вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюреру человека — против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели: Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете — он занимался онанизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой к Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел. Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную. Геринг приехал первым — очень бледный. Гиммлер знал, почему так испуган рейхсмаршал: у него проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть «эту гнусность Гесса». Геринг хохотал. Гитлер накричал на него:

— Нельзя же быть бессердечным человеком!

Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал:

— Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь ононом!

И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении исполина — второго человека партии.

— Да, — ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. — Да, мой фюрер! Я не стану скрывать этого! Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами? — Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло (назревал скандал с его любовницей — чешской актрисой Бааровой). — Почему я не езжу на ночь в Вену, на представления балета? Потому, что я живу только одним — партией! А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же! У меня нет времени на личную жизнь! Я живу один!

Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился: он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал:

— Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток: он при-

мет мою рекомендацию.

Гиммлер понял: сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал:

— Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас, не медля, привезти вам еще некоторые материалы! Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу.

И он привез Гитлеру досье на вождя трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком, его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на «бабельсбергского бычка» — Геббельса; его шальные связи с женщинами отнюдь не чистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. Лег на стол Гитлеру в ту ночь и компрометирующий материал на Бормана — подозрение в гомосексуализме.

— Нет-нет, — заступился Гитлер за Бормана, — у него много детей. Это сплетня.

Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрер листал материалы, как он по нескольку

раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера — окончательно.

Десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры — партийные вожди провинций — поняли, что Гиммлер — единственный человек после Гитлера, обладающий полнотой власти. Все местные организации партии начали посылать основную информацию в два адреса: и в штаб партии, к Гессу, и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах: это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на фюрера.

В сорок третьем году, после Сталинграда, он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей — доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту рейха. Он тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван — из врачебного дела со всей очевидностью явствовало: фюрер перенес жесточайший сифилис.

Пролистав все семьдесят страниц, Керстен тихо сказал:

— У него прогрессивный паралич в первой стадии… Он уже ненормален психически…

— Может быть, вы согласитесь лечить его? — спросил Гиммлер.

— Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели — тот сменит его врачей…

Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки бригаденфюреру СС Вальтеру Шелленбергу прощупать западных союзников — в какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как заговорщики из генеральской оппозиции вели свою игру с Алленом Даллесом, представителем американской разведки в Берне. Он особенно долго сидел над сообщением одного из заговорщиков: «Представители Запада с охотой склонялись к переговорам и к миру с рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения фюрера, которого они считали не заслуживающим доверия партнером по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких как рейхсфю-

рер СС…»

«Я был жалким трусом, — продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. — Двадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года, через пять часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Даллесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять — как тогда, в тридцать четвертом, Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате, и падали на пол, и молили о пощаде… Хотя нет… Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир… А я проявил малодушие, я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера, я оказался тряпкой… Во мне победили сантименты…»

Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путч в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу,

лишь оглушенный партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу, — говорил он Геббельсу, — что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего — имеющего героев СС».

В печати и по радио началась кампания, посвященная «подвигу СС». Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем: особенно в день девятого ноября, когда фюрер, впервые в истории рейха, поручил ему, именно ему, рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене.

Он и сейчас помнил — обостренно, жутковато — то сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но — ниже, там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему, и по его знаку вскидывали руку в партийном приветствии, и, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно под-

хватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай, но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему — Гиммлеру.

Борман… Ах как он ненавидел Бормана! Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера, как никто другой, знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал фюреру:

— Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС — надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армий «Висла». Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их.

Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он

приготовил смертельный удар Борману. И даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу.

— Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армий «Висла». Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира!

Это был крах. Шел январь 1945 года, никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии! Ставка одна: немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ.

Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в ставку. Потом он был у Геринга: разговор не получился.

И вот он проснулся, и не может спать, и слушает тишину соснового леса, и боится позвонить дочери, брошенной им, потому что об этом может узнать Борман, и боится позвонить мальчикам и их матери, которую он любит, потому что боится скандала: фюрер не прощает, как он говорит, «моральной нечистоплотности». Проклятый

сифилитик... Моральная нечистоплотность... Гиммлер с ненавистью посмотрел на телефонный аппарат: машина, которую он создавал восемнадцать лет, сейчас сработала против него.

«Все, — сказал он себе, — все. Если я не начну борьбу за себя сейчас, не медля, я погиб».

Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии фельдмаршал Кессельринг не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены: им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кессельрингу. Из Италии — прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Аллен Даллес. Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей, тем более что друг Кессельринга — вождь СС в Италии генерал Карл Вольф — верный Гиммлеру человек.

Гиммлер снял трубку телефона и сказал:

— Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа.

Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом — от его, Гиммлера, имени.

Расстановка сил

Штирлиц и не думал завязывать никакой комбинации со Шлагом, когда пастора привели на первый допрос: он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью.

Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела.

Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью — а в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, — Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для Шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать.

Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события — в деталях. Часто он вспоминал эпизод: он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару, — эпи-

зод врезался в память на всю жизнь. Однажды, писал дошлый литературовед, Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», — раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовало физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно, — отвечали ему. — Мы лишь определяем направление поиска, все остальное — в процессе эксперимента».

В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала: нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку, — так, считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием.

«Итак, пастор, — сказал себе Штирлиц. — Займемся пастором. Он теперь, после того как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером

Брюнингом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос — после приказа Центра».

16.2.1945 (04 часа 45 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС…»)

Мюллер вызвал оберштурмбаннфюрера Айсмана поздно ночью: он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим.

«Действительно, этот коньяк какой-то особый, — думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. — От на-

шего трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает — от давления, не иначе, это в порядке вещей…»

Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей, детской улыбкой.

— У меня тоже раскалывается череп, — сказал он, — мечтаю о семи часах сна как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей — самая страшная пытка.

— Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая — «чифир». Он и пьянит, и бодрит. Не попробовать ли нам? — Мюллер неожиданно засмеялся: — Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию?

Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно и так же разговаривал.

— Слушайте, — продолжал он, — тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы… Им можно фантазировать — у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке… Понимаете, у него вы-

рос огромный зуб на Штирлица…

— На кого?!

— Да-да, на Штирлица. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на наших митингах… А он молчун. Я люблю молчунов… Если друг молчун — это друг. Ну а уж если враг — так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться…

— Я знаю Штирлица восемь лет, — сказал Айсман, — я был с ним под Смоленском и видел его под бомбами: он высечен из кремня и стали.

Мюллер поморщился:

— Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить местоимениями и глаголами: «он встретился», «она сказала», «он передал»… Вы что, не допускаете мысли…

— Нет, — ответил Айсман. — Я не могу поверить в нечестность Штирлица.

— Я тоже.

— Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера.

— Зачем? — после паузы спросил Мюллер. — А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы. Он из шестого управления. Пусть Шелленберг попляшет…

— Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейхсфюрер.

— Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?

— Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать… Простите эту мою слабость… Я считаю нечестным скрывать это.

— А я плавать не умею, воды боюсь, — усмехнулся Мюллер.

Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки.

— Ну а что нам делать со Штирлицем?

Айсман пожал плечами:

— Лично я считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой — это определит все последующие действия и поступки.

— Действия и поступки — одно и то же, — заметил Мюллер. — Как же я завидую тем, кто выполняет приказ, и только! Как бы я хотел только выполнять приказы! «Быть честным»! Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне

быть нечестным. Пожалуйста, я предоставляю вам полную возможность быть честным: берите эти материалы. — Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом. — И сделайте свое заключение. До конца честное. Я обопрусь на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции.

— Почему именно я должен делать это, обергруппенфюрер? — спросил Айсман.

Мюллер засмеялся:

— А где же ваша честность, друг мой?! Где она? Всегда легко советовать другим — будь честным. А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью… Как бы оправдать себя и свои действия. Разве я не прав?

— Я готов написать рапорт.

— Какой?

— Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства.

Мюллер помолчал, поерзал в кресле, а потом подвинул Айсману листок бумаги.

— Пишите, — сказал он. — Валяйте.

Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим почерком: «Начальнику IV управления

обергруппенфюреру СС Мюллеру. Считаю штандартенфюрера СС фон Штирлица истинным арийцем, преданным идеям фюрера и НСДАП, прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштурмбаннфюрер СС Айсман».

Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и сказал негромко:

— Ну что ж… Молодец… Я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз в вашей высокой порядочности, Айсман.

— Благодарю вас.

— Меня вам нечего благодарить. Это я благодарю вас. Ладно. Вот вам эти три папки: составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица — не мне вас учить: искусство разведчика, тонкость исследователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени?

Айсман пролистал дела и ответил:

— Чтобы все было красиво оформлено и документально подтверждено, я просил бы вас дать мне неделю.

— Пять дней — от силы.

— Хорошо.

— И постарайтесь особо красиво показать

Штирлица в его работе с этим пастором. — Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. — Кальтенбруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом: Ватикан и так далее…

— Хорошо.

— Ну, счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите сладко.

Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбаннфюрера Холтоффа.

— Послушайте, — сказал он, не предложив ему даже сесть: Холтофф был из молодых. — Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности.

— Слушаю, обергруппенфюрер…

«Этот будет рыть землю, — подумал Мюллер. — Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. Этот нагородит черт-те что… И хорошо… Будет чем торговаться с Шелленбергом».

— Вот что, — продолжал Мюллер. — Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия… то есть к атомному оружию… К физику Рунге… В общем,

дело тухлое, но постарайтесь его покопать… Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы.

Когда Холтофф, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил:

— Поднимите еще несколько его ранних дел, на фронте, и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица и Айсмана.

Информация к размышлению (Даллес)

И гестапо, и абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком.

На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца.

Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию.

Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен,

часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был не прав, признать свою неправоту сразу же и открыто.

Вероятно, служба Гиммлера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложила бы в десять раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец «суверенной» Франции со столицей в Виши. Этот человек был Аллен Даллес, работник управления стратегических служб[2], направленный в Берн генералом Донованом.

В Швейцарии о нем скоро стали говорить как о личном представителе президента Рузвельта.

Даллес опубликовал опровержение в прессе. Оно было странным и таинственным. Он понял, что эта двойная реклама — слух и странное опровержение — в данном случае пойдет ему на пользу. И не ошибся: с первых же месяцев пребывания в Берне к нему со всех сторон потянулись разные люди из разных стран — банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры, то есть все те люди, из которых

---

[2] Сноски: 2

УСС (управление стратегических служб) — политическая разведка США в годы войны.

разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную.

Перед тем как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Даллес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников.

— Здесь, в синей папке, — пояснил ему человек из ФБР, занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников, — все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах оси и в нейтральных странах. В этой папке — лица, рожденные в Германии и Европе, а также те, у кого родители — немцы. Здесь — фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники… А вот тут…

Даллес перебил его недоуменным вопросом:

— Какое все это имеет отношение к делу?

— Простите…

— Меня интересует следующее: являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом германо-американского института или нет? Является ли он членом компартии? Не гомосексуалист ли он? И не лесбиянка ли она? Как семья? Устойчив ли брак, или жена истеричка, а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандаль-

ный семейный очаг? А что касается родственников в Германии или Италии, то кто-то из моих дальних родичей осел в Германии еще в прошлом веке.

К сожалению, в справочниках „Who is who“ было мало сказано о том, кем был этот человек в прошлом. Его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее значительно позже.

Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Даллеса своего агента (милая, исполнительная кухарка, работавшая у Аллена Даллеса, была сотрудником VI управления службы имперской безопасности), и Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из гестапо, и впоследствии Кальтенбруннер узнали от своего агента много важного и интересного, того выпуклого и объемного, что складывается обычно из, казалось бы, незначительных мелочей.

Этот агент, например, сообщала, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Аллена Даллеса является книга китайца Сун Цзы «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае в 400 году до нашей эры.

Особенно часто Аллен Даллес возвращался к той части сочинения китайского автора, где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке.

Сун Цзы выделял пять видов агентов: туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые.

Туземные и внутренние агенты (Даллес это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга) соответствуют, писал Даллес, тому, что мы сейчас называем агентами на местах.

Двойной агент — это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила.

Аллен Даллес подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун Цзы невозвратимым агентом называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сун Цзы называл их невозвратимыми потому, что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружит, что информация, представлявшаяся ими, была ложной.

Живые агенты, по выражению Сун Цзы, подчеркивал Даллес в своих заметках, стали называться

в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми.

Сун Цзы утверждал, что настоящий разведчик обязан иметь все пять видов этих агентов одновременно. Он говорил, что тот разведчик, который имеет пять таких агентов, обладает «божественной паутиной», некоей рыболовной сетью, состоящей из множества тонких, невидимых, но очень крепких нитей, скрепленных одной общей веревкой.

Сун Цзы мыслил интересно, и многое из Сун Цзы Даллес выписывал на отдельные листочки бумаги — о контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов.

Шпионаж Сун Цзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сун Цзы, нельзя полагаться на духа и на бога. В разведке нужно полагаться только на человека: на врага и друга.

Агент гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Навин

послал двух человек в Иерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Рааб. Это, как казалось Даллесу и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях, того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков явкой укрытия. Рааб скрыла шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив в живых одну только Рааб и ее семью. Именно тогда установлена была традиция вознаграждать тех, кто помогал разведке.

Одной из любимых книг Аллена Даллеса, как доносила в свой центр агент из его дома, была книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Также очень часто он возвращался к «Молль Флендерс» и к «Дневнику чумного года». Эти книги писал Даниель Дефо, один из великолепнейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти. Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это.

Также, доносила агент Шелленберга, Аллен Даллес в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций девятнадцатого века в Европе. Много и других данных об Аллене Даллесе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Однако стройной и точной биографии этого расчетливого разведчика середины двадцатого века руководителям Третьего рейха выстроить так и не удалось.

Биография Даллеса была не очень приметной. Получив в двадцать три года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там в 1918 году он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Даллес довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронирован-

ным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах.

Через год, в 1919-м, Даллес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац, 7, Аллен Даллес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Аллен Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль.

Гофман говорил им тогда: «За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время».

Именно тогда и именно Гофман в разговоре с Даллесом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина «дранг нах остен».

После Берлина Аллен Даллес два года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией,

в столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой — была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти.

Оттуда Аллен Даллес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в Государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток — это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках.

Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси», заявил: «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику».

И Даллес работал не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила двадцать пять процентов акций нефтяной компании «Ирак петролеум компани».

В том же году нефтяная корпорация «Галф ойл»

из группы Меллона приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов.

Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в Государственном департаменте — лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере.

Аллен Даллес получил место в юридической фирме «Салливен энд Кромвел». Фирма, одна из крупнейших на Уолл-стрит. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма «Салливен энд Кромвел» работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Аллен Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия.

Именно тогда фирма «Салливен энд Кромвел» завязала самые тесные отношения с Германией, с той страной, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали огромное количество долларов.

Именно тогда Аллен и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с трестом Тиссена «И. Г. Фарбениндустри» и с концерном

«Роберт Бош». Аллен и Джон Даллес стали американскими агентами этих немецких корпораций.

В самом начале войны Аллен Даллес был на грани краха. Концерн «Роберт Бош» имел свой филиал в Соединенных Штатах. Этот филиал назывался «Американ Бош корпорейшн». В начале Второй мировой войны фирма стояла перед угрозой занесения в черный список. Ее владельцы срочно заключили соглашение со шведскими банкирами братьями Валленберг. Это соглашение предусматривало установление шведским банком номинального контроля над «Американ Бош корпорейшн» с условием передачи этой фирмы ее владельцам лишь после окончания войны.

Валленберги согласились, но им нужен был американский контрагент для выполнения всех необходимых формальностей. Эта роль была отведена братьям Даллес. Аллен Даллес сумел обмануть американские власти и скрыть под шведским флагом собственность нацистов. В дальнейшем Аллен Даллес стал не только совладельцем фирмы «Салливен энд Кромвел», он стал директором «Шредер трест компани» и одновременно директором «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн».

Кем же был Шредер?

Он был немецким гражданином в Германии, американским — в Соединенных Штатах, английским — в Великобритании. В тридцатых годах этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кельне Гитлер встретился с фон Папеном. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне «англо-германское общество», то самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно догадываться, чем занималась фирма «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн» в Соединенных Штатах. Директором этой фирмы был Аллен Даллес…

Именно этот человек, как никто другой знавший Европу, Германию, нацизм, бизнес, нефть, стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе.

Даллес, конечно же, не был личным предста-

вителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку управления стратегических служб была связана, в частности, с беседой, которая состоялась между ним и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Перл-Харбор.

— Вы спрашиваете о перспективе, — задумчиво говорил Даллес, попыхивая, по обыкновению, неизменной английской трубкой. — Я не готов к исчерпывающему ответу. Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране, новые постановки в театрах и отчеты о партайтагах в Нюрнберге. Одно для меня очевидно: Германия не будет безмолвствовать — я имею в виду Германию серьезных финансистов, типа уволенного в отставку Шахта, и литераторов, вынужденных заниматься переводами с латыни.

— Шахт — это серьезно, а литераторы…

— Это тоже серьезно, — возразил Даллес, — даже серьезнее, чем вы думаете. Гиммлер еще в тридцать четвертом году совершил первую крупную ошибку: он бросил в концлагерь лауреата Нобелевской премии фон Осецкого[3]. Он

[3] Сноски: 3

Осецкий Карл (1889–1938) — немецкий прогрессивный журналист и публицист.

создал образ мученика. А этого самого мученика, вместо того чтобы сажать в концлагерь, надо было купить: славой, деньгами, женщинами… Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо умело покупать, ибо покупка — это лучший вид компрометации.

— Ну, это нас не интересует, это — частности…

— Это не частности, — упрямо возразил Даллес, — это отнюдь не частности. Гитлер воспитал пятьдесят миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов. А это нас не может устроить: автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен Шахт. Но Шахт нужен нам. Так что, — закончил Даллес, — здесь все очень и очень взаимосвязано… И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии… А интеллигенты в армии — это люди в чине от майора и до фельдмаршала, не ниже. Ниже — автоматы, исполняющие любой приказ слепо и бездумно…

— А вот эта версия уже интересна, — сказал собеседник Аллена Даллеса. — Она интересна, ибо перспективна. А вы говорили, что не можете ответить на мой вопрос…

17.2.1945 (10 часов 03 минуты)

Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так, во всяком случае, ему казалось. Просто первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников, он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле сорок четвертого, но сейчас он сам вершил акт государственного предательства: за переговоры с врагом полагалось только одно наказание — смерть.

Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом — высший офицер СС с высшим разведчиком союзников.

Гиммлер по обычной своей манере снял очки — сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе — и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось, а после улыбнулся. «Я начал двигаться, — понял он. — Самое страшное — это мучительная оцепенелость, это сродни ночному кошмару».

Он вызвал Шелленберга. Шеф политической

разведки пришел к Гиммлеру через минуту — казалось, он сидел в приемной, а не у себя, на третьем этаже.

— Вольф улетает для контакта с Даллесом, — сказал Гиммлер и хрустнул пальцами.

— Это мудро…

— Это безумие, Шелленберг, это безумие и авантюризм.

— Вы имеете в виду возможный провал?

— Я имею в виду целый комплекс проблем! Это вы, это все ваша работа! Вы меня подводили к этому шагу!

— Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам.

— Они могут попасть сначала к ве́нцу…

Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил:

— К Кальтенбруннеру. И я не знаю, куда эти материалы отправятся потом: к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода. И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана.

— Я анализировал и эту возможность.

Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного — вернуть Вольфа и начисто

забыть разговор с ним.

— Я анализировал эту возможность, — повторил Шелленберг. — Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения…

Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по люфтваффе. Его все считали человеком Геринга.

— Это хорошо, — сказал Гиммлер. — Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?

— Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа, — ответил Шелленберг. — Вы позволите мне закурить?

— Да, пожалуйста, — ответил Гиммлер.

Шелленберг закурил: с тридцать шестого года он курил только «Кэмэл» и никаких других сигарет не признавал. Однажды в сорок втором, после того как Америка вступила в войну, его спросили: «Откуда у вас вражеские сигареты?» Шелленберг ответил: «Воистину, купишь американские сигареты — скажут, что продал родину…»

— Я продумал все возможности, — продолжал

он, — даже самые неприятные.

— То есть? — насторожился Гиммлер. Он успокоился, он пришел в себя, появилась разумная перспектива, что ж еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается?

— А что, если Кессельринг, а еще хуже — его покровитель Геринг смогут доказать в данном случае свое алиби?

— Мы не допустим этого. Озаботьтесь этим заранее.

— Мы — да, но Кальтенбруннер и Мюллер?

— Хорошо, хорошо, — устало сказал Гиммлер, — ну а что вы предлагаете?

— Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов.

— Так не бывает, — ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом, — впрочем, я не охотник…

— Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли? Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач? Как поступит Сталин, узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками? Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на

минуту. Следовательно, поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, — это на благо фюрера. Наша легенда: переговоры — это блеф для Сталина! Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала.

Гиммлер поднялся со стула — он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле, — отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал: «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой…»

— Я подумаю над тем, что вы сказали, — не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы рейхсфюреру — он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы.

— Вас будут интересовать детали или мелочи додумать мне самому? — спросил Шелленберг.

— Додумайте сами, — ответил Гиммлер, но, когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся: — Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?

— Во-первых, операция прикрытия… То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую,

не нашу, для переговоров с Западом… А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности… Это будет победа нашей службы разведки: сорвали коварные замыслы врагов — так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще пять-шесть моих людей. Вольф не будет знать о наших людях — они будут гнать информацию непосредственно мне. Это, в довершение ко всему, третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье.

— В ваше, — поправил его Гиммлер, — в ваше досье.

«Я снова испугал его, — подумал Шелленберг, — эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому».

— Кого вы хотите туда отправить?

— У меня есть хорошие кандидатуры, — ответил Шелленберг, — но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел.

В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его

«подопечным» пастором.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из Центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сиденье лежал громоздкий проигрыватель: Эрвин по легенде был владельцем маленькой фирмы проигрывателей, это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов.

На улице был затор: впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки обрушилась стена шестиэтажного дома, и рабочие дорожных отрядов вместе с полицейскими быстро и споро организовали проезд транспорту.

Штирлиц обернулся: за его «хорьхом» уже стояло машин тридцать, не меньше. Молоденький паренек, шофер грузовика, крикнул Штирлицу:

— Если сейчас прилетят, вот катавасия начнется, и спрятаться некуда.

— Не налетят, — ответил Штирлиц, глянув на небо. Облака были низкие, судя по серо-черным закраинам — снеговые.

«Ночью было тепло, — подумал Штирлиц, — а сейчас похолодало — явно это к снегу».

Он отчего-то вспомнил давешнего астронома:

«… Год неспокойного солнца. Все взаимосвязано на шарике. Мы все взаимосвязаны, шарик связан со светилом, светило — с галактикой. — Штирлиц вдруг усмехнулся. — Похоже на агентурную сеть гестапо…»

Шуцман, стоявший впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул:

— Проезжать!

«Нигде в мире, — отметил для себя Штирлиц, — полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас». Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии как о своей нации и о своей стране. «А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка бы уже давным-давно провалился. Парадокс: видимо, я люблю этот народ и люблю эту страну. А может быть, действительно гитлеры приходят и уходят?»

Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно «едят» резину, он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом, но все равно он очень любил крутые виражи, так, чтобы резина пищала и пела, а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма.

В Кепенике у поворота к дому Эрвина и Кэт сто-

яло второе полицейское оцепление.

— Что там? — спросил Штирлиц.

— Разбита улица, — ответил молоденький бледный шуцман, — они бросили какую-то мощную торпеду.

Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот.

«Точно, — вдруг понял он, — их дом тоже».

— Дом девять? — спросил он. — Тоже?

— Да, разбили совершенно.

Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по переулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненней шуцман:

— Запрещено.

Штирлиц отвернул лацкан пиджака: там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал:

— Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия…

— Значит, взлетим вместе, — ответил Штирлиц и пошел к руинам дома номер девять.

Он ощущал огромную, нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом, и он так и шел — пружинисто, и на лице его была его обязательная, скептическая ухмылка. А перед глазами стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый.

«К девочке, — сказала она ему как-то. — Когда живот торчит огурцом — это к мальчику, а я обязательно рожу девицу».

— Все погибли? — спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные.

— Трудно сказать. Попало под утро, было много санитарных машин…

— Много вещей осталось?

— Не очень… Видите, какая каша…

Штирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

— Мамочка! — кричала Кэт. — Господи! Мама-а-а-а! Помогите кто-нибудь!

Она лежала на столе. Ее привезли в родильный дом контуженной: в двух местах была пробита голова. Она и кричала-то какие-то бессвязные слова: жалобные, русские.

Доктор, принявший мальчика — горластого, сиплого, большого, — сказал акушерке:

— Полька, а какого великана родила…

— Она не полька, — сказала акушерка.

— А кто? Русская? Или чешка?

— Она по паспорту немка, — ответила акушерка, — у нее в пальто был паспорт на имя немки Кэтрин Кин.

— Может быть, чужое пальто?

— Может быть, — согласилась акушерка. — Смотрите, какой роскошный карапуз — не меньше четырех килограммов. Просто красавец… Вы позвоните в гестапо или попозже позвоню я?

— Позвоните вы, — ответил доктор, — только попозже.

«Все, — устало, как-то со стороны думал Штирлиц, — теперь я совсем один. Теперь я попросту совершенно один…»

Он долго сидел у себя в кабинете запершись и не отвечал на телефонные звонки. Автоматически он подсчитал, что звонков было девять. Два человека звонили к нему подолгу, видимо, было что-то важное, или звонили подчиненные — они всегда звонят подолгу. Остальные были короткими: так звонит либо начальство, либо друзья.

Потом он достал из стола листок бумаги и начал писать:

«Рейхсфюреру СС Строго секретно.
Генриху Гиммлеру Лично

Рейхсфюрер!

Интересы нации заставляют меня обратиться к Вам с этим письмом. Мне стало известно из надежных источников, что за Вашей спиной группа каких-то лиц из СД налаживает контакты с врагом, зондируя почву для сделки с противником. Я не могу строго документально подтвердить эти сведения, но я прошу Вас принять меня и выслушать мои предложения по этому вопросу, представляющемуся мне крайне важным и не терпящему отлагательств. Прошу Вас разрешить мне, используя мои связи, информировать Вас более подробно и предложить свой план разработки этой версии, которая кажется мне, увы, слишком близкой к правде.

Хайль Гитлер!

Штандартенфюрер
СС фон ШТИРЛИЦ».

Он знал, на кого ссылаться в разговоре: три дня назад во время налета погиб кинохроникер из Португалии Луиш Вассерман, тесно связанный со шведами.

Информация к размышлению (Шелленберг)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1934 года бригаденфюрера СС, начальника VI отдела РСХА Вальтера Шелленберга:

«Истинный ариец. Характер – нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей, порочащих его, не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором…»)

Пожалуй, после своего массажиста доктора Керстена Гиммлер верил, как себе, лишь одному Шелленбергу. Он следил за ним с начала тридцатых годов, когда Шелленберг еще учился. Он знал, что этот двадцатитрехлетний красавец после иезуитского колледжа окончил университет, стал бакалавром искусствоведения. Он знал

также, что его любимым профессором в университете был человек еврейской национальности. Он знал, что Шелленберг поначалу вышучивал высокие идеи национал-социализма и не всегда лестно отзывался о фюрере.

Когда Шелленберга пригласили работать в разведке, он, к тому времени начавший уже разочаровываться в позиции германской интеллигенции, которая лишь скорбно комментировала злодейства Гитлера и опасливо издевалась над его истеризмом, принял предложение Гейдриха.

Его первым крещением был салон Китти. Шеф криминальной полиции Небе через свою картотеку выделил в этот светский салон самых элегантных проституток Берлина, Мюнхена и Гамбурга. Потом по заданию Гейдриха он нашел красивых молодых жен дипломатов и высших военных, женщин, которые были утомлены одиночеством (их мужья проводили дни и ночи в совещаниях, разъезжали по Германии, вылетали за границу). Женам было скучно, женам хотелось развлечений. Они находили эти развлечения в салоне Китти, где собирались дипломаты из Азии, Америки и Европы.

Эксперты технического ведомства безопас-

ности СД организовали в этом салоне двойные стены и всадили туда аппаратуру подслушивания и фотографирования. Идею Гейдриха проводил в жизнь Шелленберг: он был хозяином этого салона, исполняя роль светского сводника.

Вербовка шла в двух направлениях: скомпрометированные дипломаты начинали работать в разведке у Шелленберга, а скомпрометированные жены военных, партийных и государственных деятелей Третьего рейха переходили в ведомство шефа гестапо Мюллера.

Мюллера к работе в салоне не подпускали: его крестьянская внешность и грубые шутки могли распугать посетителей. Тогда-то он впервые почувствовал себя зависимым от двадцатипятилетнего мальчишки.

— Он думает, что я стану хватать за ляжки его фиолетовых потаскух, — сказал Мюллер своему помощнику, — много чести. В нашей деревне таких баб называли навозными червями.

И когда фрау Гейдрих во время отъезда мужа позвонила Шелленбергу и пожаловалась на скуку и он предложил ей поехать за город, к воде, Мюллер немедленно узнал об этом и решил, что сейчас самое время свернуть голову этому красивенькому мальчику. Он не отно-

сился к числу тех «стариков» в гестапо, которые считали Шелленберга несерьезной фигурой — красавчик, выписывает из библиотеки книги на латыни и на испанском, одевается как прощелыга, не скрываясь, крутит романы, ходит на Принц-Альбрехтштрассе пешком, отказываясь от машины, — разве это серьезный разведчик? Болтает, смеется, пьет…

Крестьянский, неповоротливый, но быстро реагирующий на новое ум Мюллера подсказал ему, что Шелленберг — первый среди нового поколения. Любимчик притащит за собой подобных себе.

Шелленберг повез фрау Гейдрих на озеро Плойнер. Это была единственная женщина, которую он уважал, — он мог говорить с ней о высокой трагедии Эллады и о грубой чувственности Рима. Они бродили по берегу озера и говорили, перебивая друг друга. Двое мордастых парнишек из ведомства Мюллера купались в холодной воде. Шелленберг не мог предположить, что два эти идиота, единственные, кто купался в ледяной воде, могут быть агентами гестапо. Он считал, что агент не имеет права так открыто привлекать к себе внимание. Крестьянская хитрость Мюллера оказалась выше стройной логики

Шелленберга. Агенты должны были сфотографировать «объекты», если они решат «полежать под кустами», по словам Мюллера. «Объекты» под кусты не ложились. Выпив кофе на открытой террасе, они вернулись в город. Однако Мюллер решил, что слепая ревность всегда страшнее зрячей. Поэтому он положил на стол Гейдриха донесение о том, что его жена и Шелленберг гуляли вдвоем в лесу и провели полдня на берегу озера Плойнер.

Прочитав это донесение, Гейдрих ничего не сказал Мюллеру. Весь день прошел в неведении. А вечером, позвонив предварительно Мюллеру, Гейдрих зашел в кабинет к Шелленбергу, хлопнул его по плечу:

— Сегодня дурное настроение, будем пить.

И они втроем до четырех часов утра мотались по маленьким грязным кабакам, садились за столики к истеричным проституткам и спекулянтам валютой, смеялись, шутили, пели вместе со всеми народные песни, а уже под утро, став белым, Гейдрих, придвинувшись близко к Шелленбергу, предложил ему выпить на брудершафт. И они выпили, и Гейдрих, накрыв ладонью рюмку Шелленберга, сказал:

— Ну вот что, я дал вам яд в вине. Если вы мне

не откроете всю правду о том, как вы проводили время с фрау Гейдрих, вы умрете. Если вы скажете правду — какой бы страшной она для меня ни была, — я дам вам противоядие.

Шелленберг понял все. Он умел понимать все сразу. Он вспомнил двух молодчиков с квадратными лицами, которые купались в озере, он увидел бегающие глаза Мюллера, его чересчур улыбающийся рот и сказал:

— Ну что же, фрау Гейдрих позвонила мне. Ей было скучно, и я поехал с ней на озеро Плойнер. Я могу представить вам свидетелей, которые знают, как мы проводили время. Мы гуляли и говорили о величии Греции, которую погубили доносчики, предав ее Риму. Впрочем, ее погубило не только это. Да, я был с фрау Гейдрих, я боготворю эту женщину, жену человека, которого я считаю поистине великим. Где противоядие? — спросил он. — Где оно?

Гейдрих усмехнулся, налил в рюмку немного мартини и протянул ее Шелленбергу.

Через полгода после этого Шелленберг зашел к Гейдриху и попросил его санкции.

— Я хочу жениться, — сказал он, — но моя теща — полька.

Это было предметом для разбирательства

у рейхсфюрера СС Гиммлера. Гиммлер лично рассматривал фотографии его будущей жены и тещи. Пришли специалисты из ведомства Розенберга. Проверялись микроциркулем строение черепа, величина лба, форма ушей. Гиммлер дал разрешение Шелленбергу вступить в брак.

Когда брак состоялся, Гейдрих, крепко выпив, взял Шелленберга под руку, отвел его к окну и сказал:

— Вы думаете, мне неизвестно, что сестра вашей жены вышла замуж за еврейского банкира?

Шелленберг почувствовал пустоту в себе, и руки у него захолодели.

— Полно, — сказал Гейдрих и вдруг вздохнул.

Шелленберг тогда не понял, почему вздохнул Гейдрих. Он это понял значительно позже, узнав, что дед шефа имперской безопасности был еврей и играл на скрипке в венской оперетте.

...Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками — с Бестом и Стефенсом.

Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, войти в контакт

с высшими чинами английской разведки, Министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он тем не менее хотел прощупать возможность серьезных контактов с Даунинг-стрит.

Но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Гиммлер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Наверняка, считает фюрер, это дело рук английской разведки, и поэтому необходимо англичан, и Беста и Стефенса, выкрасть и привезти в Берлин.

Шелленберг устроил громадный спектакль в Венло, в Голландии. Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефенса. Их допрашивали всю ночь, и, так как стенографист потом перепечатывал протоколы допросов английских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шелленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру: он не мог читать мелкий шрифт, он мог читать только большие, жирно пропечатанные буквы.

Фюрер считал, что покушение на него было организовано «Черной капеллой» его бывшего

друга и нынешнего врага Штрассера-младшего вкупе с англичанами Бестом и Стефенсом.

Но в те дни случайно, при попытке перехода швейцарской границы, был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один.

Потом, когда пытки стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему после, перед самым покушением, подключились еще два человека.

Шелленберг был убежден, что эти двое были из «Черной капеллы» Штрассера и никакой связи с англичанами тут нет.

Гитлер назавтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это мешало, поделать ничего не мог.

Через три дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейтеля и Шелленберга. Сам он пил слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом.

— Гейдрих, — сказал он, — вы должны применить все новости медицины и гипноза. Вы обязаны узнать у Эслера, кто с ним был в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена

за границей.

Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шелленбергу и спросил:

— Ну а каково ваше впечатление об англичанах? Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии.

Шелленберг ответил:

— Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду. А Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья — англосаксы и германцы.

За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое.

— Конечно, нет ничего хуже домашней ссоры, — задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. — Нет ничего хуже ссоры между своими, но ведь Черчилль мешает мне. До тех пор пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними.

Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу:

— Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение, иначе он обвинил бы вас в том, что вы сделались проанглича нином после контактов с «Интеллидженс сервис». И как бы мне это

ни было больно, но я посадил бы вас в камеру; и как бы мне это ни было больно, я расстрелял бы вас — естественно, по его приказу.

…В тридцать лет Шелленберг стал шефом политической разведки Третьего рейха.

Когда агентура Гиммлера донесла своему шефу, что Риббентроп вынашивает план убийства Сталина — он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров, и убить его из специальной авторучки, — рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней первым к Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина.

С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос «Казбек», два агента были заброшены через линию фронта в Россию.

(Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылетать за линию фронта. Москва была предупреждена, агенты схвачены.)

Провалы в работе Шелленберга компенсировались его умением перспективно мыслить и четко анализировать ситуацию. Именно Шелленберг еще в середине 1944 года сказал Гиммлеру, что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг, не Геббельс и даже

не Борман.

— Шпеер, — сказал он. — Шпеер будет нашим самым главным противником. Шпеер — это внутренняя информация об индустрии и обороне. Шпеер — обергруппенфюрер СС. Шпеер — это Министерство вооружения, это тыл и фронт, это в первую голову концерн ИГ, следовательно, прямая традиционная связь с Америкой. Шпеер связан со Шверин фон Крозиком. Это — финансы. Шверин фон Крозик редко когда скрывает свою оппозицию практике фюрера. Не идее фюрера, а именно его практике. Шпеер — это молчаливое могущество. Та группа индустрии, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии, — это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпеера. Они заняты двумя проблемами: как выжать максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки.

Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана, ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой использовал не он, Гиммлер, то наверняка их мог

использовать Борман.

18.2.1945 (11 часов 46 минут)

Шелленберг увидел Штирлица в приемной рейхсфюрера.

— Вы следующий, — сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская к Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля, — я думаю, обергруппенфюрер ненадолго: у него локальные вопросы.

— Здравствуйте, Штирлиц, — сказал Шелленберг. — Я ищу вас.

— Добрый день, — ответил Штирлиц, — что вы такой серый? Устали?

— Заметно?

— Очень.

— Пойдемте ко мне, вы нужны мне сейчас.

— Я вчера просил приема у рейхсфюрера.

— Что за вопрос?

— Личный.

— Вы придете через час-полтора, — сказал Шелленберг, — попросите перенести прием, рейхсфюрер будет здесь до конца дня.

— Хорошо, — проворчал Штирлиц, — только боюсь, это неудобно.

— Я забираю фон Штирлица, — сказал дежур-

ному адъютанту Шелленберг, — перенесите, пожалуйста, прием на вечер.

— Есть, бригаденфюрер!

Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул:

— Каков голос, а? Он рапортует, словно актер оперетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться.

— Я всегда жалею адъютантов, — сказал Штирлиц. — Им постоянно нужно сохранять многозначительность, иначе люди поймут их ненужность.

— Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки: и поговорить можно между делом, и, если хорош экстерьер, другие охотники будут завидовать.

— Я, правда, знал одного адъютанта, — продолжал Штирлиц, пока они шли по коридорам, — который выполнял роль импресарио: он всем рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов ему устроили автомобильную катастрофу: слишком уж был певуч, раздражало…

Шелленберг засмеялся:

— Выдумали или правда?

— Конечно выдумал…

Около выхода на центральную лестницу им

повстречался Мюллер.

— Хайль Гитлер, друзья! — сказал он.

— Хайль Гитлер, дружище, — ответил Шелленберг.

— Хайль, — ответил Штирлиц, не поднимая руки.

— Рад видеть вас, чертей, — сказал Мюллер, — снова затеваете какое-нибудь очередное коварство?

— Затеваем, — ответил Шелленберг, — почему ж нет?

— С вашим коварством никакое наше не сравнится, — сказал Штирлиц, — мы агнцы божьи в сравнении с вами.

— Это со мной-то? — удивился Мюллер. — А впрочем, это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается.

Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников: он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения и особенно во время скучных допросов.

Информация к размышлению (Черчилль)

Когда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения англо-советско-американского союза есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения, многим казалось это проявлением характера фюрера — до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты: разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности. В этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю: «Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств». Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда русские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом.

Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, кара-

ющих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узнай он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943–1944 годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим: «Вопрос стоит так: готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно отдавать себе отчет в тех преимуществах, которые получат западные демократии, если их армии оккупируют Будапешт и Вену и освободят Прагу и Варшаву…»

Трезво думающие американцы понимали, что попытки Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах — сугубо эгоистичны. Они отдавали себе отчет в том, что победа точки зрения Черчилля сделает Великобританию гегемоном на Средиземном море: следовательно, именно Великобритания оказалась бы хозяином Африки, Арабского Востока, Италии, Югославии и Греции. Баланс сил, таким образом, сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов — и высадка была намечена во Франции.

Политик осторожный и смелый, Черчилль

мог бы, при определенных критических обстоятельствах, вступить в контакты в теми, кто стоял в оппозиции к фюреру, для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии не оставалось. Но, считал Черчилль, всякий осторожный «роман» с теми из руководства рейха, кто пытался бы осуществить капитуляцию армий вермахта на западе, был хотя и мало реален — в силу твердой позиции Рузвельта и прорусских настроений во всем мире, — однако этот «роман» позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах.

И когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил:

— Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности… Однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю Бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом. Однако, — добавил он, и глаза его сделались стальными, и только где-то в самой их глубине метались искорки сме-

ха, — я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление содружества наций, и — прямым, неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру — коварством…

— Но в случае целесообразности игра может оказаться не игрой, а более серьезной акцией? — спросил помощник шефа разведки.

— По-вашему, игра — это несерьезно? Игра — это самое серьезное, что есть в мире. Игра и живопись. Все остальное суетно и мелко, — ответил Черчилль. Он лежал в постели, он еще не поднялся после своего традиционного дневного сна, и поэтому настроение у него было благодушное и веселое. — Политика в таком виде, в каком мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политике элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика. Это уже не своеволие личности, это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей, это наука точная, как математика, и опасная, как экспериментальная радиация в медицине. Глобальная политика принесет неисчислимые трагедии малым странам; это политика поломанных интеллектов и погиб-

ших талантов. Глобальной политике будут подчинены живописцы и астрономы, лифтеры и математики, короли и гении. — Черчилль поправил плед и добавил: — Соединение в одном периоде короля и гения отнюдь не обращено против короля; противопоставление, заключенное в этом периоде, случайно, а не целенаправленно. Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы, такие парадоксальные повороты в стратегии, что мое обращение к Сталину двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года будет казаться верхом логики и последовательности. Впрочем, мое обращение было логичным, вопрос последовательности — вторичен. Главное — интересы содружества наций, все остальное будет прощено историей…

18.2.1945 (12 часов 09 минут)

— Здравствуйте, фрау Кин, — сказал человек, склонившись к изголовью кровати.

— Здравствуйте, — ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело, каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем как все

снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей доныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось — и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокое, недоступное ей раньше спокойствие.

— Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин, — продолжал человек, — вы меня слышите?

— Да.

— Я не стану вас долго тревожить…

— Откуда вы?

— Я из страховой компании…

— Моего мужа… больше нет?

— Я попросил бы вас вспомнить: когда упала бомба, где он находился?

— Он был в ванной комнате.

— У вас еще оставались брикеты? Это ведь такой дефицит! Мы у себя в компании так мерзнем…

— Он купил… несколько штук… по случаю…

— Вы не устали?

— Его… нет?

— Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет… Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают, одежду мы приготовим ко времени вашего выхода: и вам, и младенцу… Какой очаровательный карапуз… Девочка?

— Мальчик.

— Крикун?

— Нет… Я даже не слышала его голоса.

Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына.

— Они должны часто кричать? — спросила она. — Вы не знаете?

— Мои орали ужасно, — ответил мужчина, — у меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш — богатырь. А богатыри все молчуны… Фрау Кин, простите, если вы еще не очень устали, я бы хотел спросить вас: на какую сумму было застраховано ваше имущество?

— Я не знаю… Этим занимался муж…

— И в каком отделении вы застрахованы — тоже, видимо, не помните?

— Кажется, на Кудам.

— Ага, это двадцать седьмое отделение. Уже значительно проще навести справки…

Человек записал все это в свою потрепанную книжечку; снова откашлявшись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал:

— А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе, это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике…

— Я не буду, — шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой, влажной руке, — спасибо вам…

— Где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы частью разбиты, а частью отданы военным. Но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать?

— Мои родные остались в Кенигсберге, — ответила Кэт, — я не знаю, что с ними.

— А родственники мужа? Кому сообщить о несчастье?

— Его родственники живут в Швеции. Но им писать неудобно: дядя мужа — большой друг Германии, и нас просили не писать ему… Мы посылали письма с оказией или через посольство.

— Вы не помните адрес?

В это время заплакал мальчик.

— Простите, — сказала Кэт, — я покормлю его, а после скажу вам адрес.

— Не смею мешать, — сказал человек и вышел из палаты.

Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле. Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали, потому что малыш начал сосать, и все тревожное, но чаще всего далекое-далекое, чужое — ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками: она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь словно перевязанный ниточками.

Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека.

«Почему я одна здесь? — вдруг подумала Кэт. — Где я?»

Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил:

— Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей. После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти: знаете, в вашем горе даже один чемодан уже подспорье. Что-то можно будет продать, купите для малыша самое необходимое. Мы, конечно, постараемся все приготовить к вашему выходу, но все-таки…

— Франц Паакенен, Густав Георгплац, двадцать пять. Стокгольм.

— Спасибо. Вы не утомились?

— Немного утомилась, — ответила Кэт, потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице, возле развалин их дома, стоял большой чемодан — его нельзя было спутать с другими. В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция…

— Посмотрите внимательно, и я откланяюсь, — сказал человек, протягивая ей фотографию.

— По-моему, нет, — ответила Кэт, — здесь на-

ших чемоданов нет.

— Ну, спасибо, тогда этот вопрос будем считать решенным, — сказал человек, осторожно спрятал фотографию в портфель и, поклонившись, поднялся. — Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру — что поделаешь, такое время! — крайне незначительны…

— Я буду вам очень признательна, — ответила Кэт.

Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт: фотографию, на которой были чемоданы, заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике, вмонтированном в чемодан, были уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку следователь направил в VI управление имперской безопасности: он запрашивал все относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена.

18.2.1945 (12 часов 17 минут)

Айсман долго расхаживал по своему кабинету. Он ходил быстро, заложив руки за спину, все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного. Это мешало ему сосредоточиться; он отвлекался от главного, он не мог до конца проанализировать то, что его мучило, — почему Штирлиц попал под «колпак»?

Наконец, когда натужно, выматывающе завыли сирены воздушной тревоги, Айсман понял: ему недоставало бомбежки. Война стала бытом, тишина казалась опасной и несла в себе больше затаенного страха, чем бомбежка.

«Слава богу, — подумал Айсман, когда сирена, проплакав, смолкла и наступила тишина. — Теперь можно сесть и работать. Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать, и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предположениями...»

Айсман сел к столу и начал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса: Барбары Крайн и Роберта Ниче. Оба они были

прихожанами его кирхи, и в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Шлаг призывает к миру и к братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции, в Швейцарии. У них еще в двадцатых годах наладились добрые отношения, однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку — как здесь, в Германии, так и в Швейцарии.

Айсман недоумевал — отчего пастор Шлаг попал в разведку? Почему он не был отправлен в гестапо? Отчего им заинтересовались люди Шелленберга? Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу: пастор дважды в 1933 году выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов.

«Они заинтересовались его связями, — понял Айсман, — им было интересно, с кем он там контактовался. Поэтому его взяли к себе люди из разведки, поэтому его и передали Штирлицу. При чем здесь Штирлиц? Ему поручили — он

выполнил…»

Айсман пролистал дело: допросы были коротки и лаконичны. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки, с тем чтобы его заключение было мотивированным и документальным, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица: никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность.

Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага штандартенфюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года.

«– Хочу вас предупредить: вы арестованы, а для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, вопрос о выходе отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. Невозможна также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь: все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые не лояльны по отношению к нашему государству, и, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти

предложения?

— Я должен подумать.

— Сколько времени вам нужно на раздумье?

— Сколько времени нужно человеку, чтобы приготовиться к смерти? Ваше предложение неприемлемо.

— Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению. Вы говорите, что вы в том и другом случае конченый человек, но разве вы не являетесь патриотом Германии?

— Являюсь. Но что понимать под „патриотом Германии“?

— Верность нашей идеологии.

— Идеология — это еще не страна.

— Во всяком случае, наша страна живет идеологией фюрера. Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря, быть с народом, который исповедует нашу идеологию?

— Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это.

— А я приглашаю вас к равному спору.

— Быть с народом — это одно, а чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по вере, — другое. Эти вещи могут совпадать и могут не совпадать. В данном случае вы мне предлагаете выход не тот,

который соответствует моему убеждению. Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил, с тем чтобы я вам подписал какое-то заявление. Облекаете же вы это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть рычагом? Так и скажите: или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке он говорит, мне не важно, ибо, по существу, я уже мертвец.

— Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио, в котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму. Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма, а потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой, помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину.

— Если вопрос стоит так — попробуйте меня убедить в том, что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое.

— Я готов. Но ведь национал-социализм — это наше государство, государство, ведомое великими идеями фюрера, в то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство.

— Совершенно точно.

— Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим блага нашему народу. Давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации.

— Хорошо, в таком случае я спрошу вас об одном: концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, есть неизбежное следствие вашей государственности?

— Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению.

— Но где же начало, а где следствие? Откуда появляется гнев нации и является ли гнев нации

необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас есть причина, а все остальное следствие, — одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло — это благо?

— Нет, „зло“ — это сказали вы, а я сказал — „ненависть народа“. Ненависть народа, который впервые за много лет унизительного Версальского договора, после засилия еврейских банкиров и лавочников получил возможность спокойной жизни. Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо, пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания, которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером.

— Очень хорошо… Спокойно жить и воевать — это одно и то же?

— Мы воюем только для того, чтобы обеспечить себе жизненное пространство.

— А держать четверть населения в концлагерях — это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой?

— Вы ошибаетесь. В наших концлагерях, ко-

торые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, — это вы пользуетесь, очевидно, сведениями, почерпнутыми из вражеских источников, — содержится отнюдь не четверть страны. И потом, на воротах каждого нашего концлагеря написано: „Работа делает свободным“. Мы в концлагерях воспитываем заблудших, но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению.

— Значит, вы решаете, кто перед вами виноват, кто — нет?

— Бесспорно.

— Значит, вы заранее знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет?

— Мы знаем, чего хочет народ.

— Народ. Из кого состоит народ?

— Из людей.

— Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек? Вернее, зная заранее, чего он хочет, диктуя ему, предписывая? Это уже химера.

— Вы не правы. Народ хочет хорошей пищи…

— И войны за нее?

— Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье и — войны за это свое счастье! Да, войны!

— И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях? Если одно вытекает из другого с неизбежностью, значит что-то неправильно в вашем счастье, ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть, с моей точки зрения, чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы. Наверное, с вашей точки зрения, цель оправдывает средство. То же проповедовали иезуиты.

— Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства? Или вы все же позволяете себе подвергать остракизму отдельные периоды в развитии христианского учения? В частности, инквизицию?

— Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была учреждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель. То есть само очищение, само аутодафе, сама эта жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение верой, постепенно стало ставить зло перед собой как самоцель.

— Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось?

— Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. А все ереси в истории христианства суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого либо стать богатым и сесть на его место, между тем как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком и что богатство так же преходяще, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали к крови. Между прочим, идея зла — это, как правило, принадлежность еретических учений, и церковь выступала насильственно против ересей во имя того, чтобы насилие не вводилось в нравственный кодекс христианства.

— Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала

насилие?

— Допускала, но не делала его целью и не оправдывала его в принципе.

— Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, восьми-девяти веков, не так ли? Значит, восемьсот-девятьсот лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в тысяча девятьсот тридцать третьем году. Чего же вы хотите от нас? За одиннадцать лет мы ликвидировали безработицу, за одиннадцать лет мы накормили всех немцев, да — насилуя инакомыслящих! А вы мешаете нам — словесно! Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не на духовное? В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас? Листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти?

— Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине… не потому, что я боюсь чего бы то ни было… Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что, если я начну против вас применять ваши методы,

я невольно стану похожим на вас.

— Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет: „Святой отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него…“

— Я не буду ему мешать.

— Он скажет: „Я хочу убить гауляйтера“. А у гауляйтера трое детей, девочки: два года, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите?

— Я не знаю.

— И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне?

— Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае — устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови.

— Я убежден, если мы к вам применим третью

степень допроса — это будет мучительно и больно, — вы все-таки нам назовете фамилию того человека.

— Вы хотите сказать, что, если вы превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно, используйте меня как животное или как машину…

— Скажите, а если бы к вам обратились люди — злые враги, безумцы — с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Россию, Швецию или в Швейцарию, и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой?

— Быть посредником — естественное для меня состояние.

— Почему так?

— Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу — мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе это одно и то же отно-

шение — отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми в принципе является для меня естественным. Единственное условие, которое я для себя при этом ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами.

— Даже если посредничество было бы злом для нашего государства?

— Вы вынуждаете меня давать общие оценки. Вы прекрасно понимаете, что, если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут. Но если бы я знал, как этого добиться! В принципе я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас составляют национал-социалистское государство, остались живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать.

— По-моему, предательство страшно, но еще страшнее равнодушное и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство, и убийство.

— В таком случае может быть только одно участие в этом: прекращение убийства.

— Сие от вас не зависит.

— Не зависит. А что вы называете предатель-

ством?

— Предательство — это пассивность.

— Нет, пассивность — это еще не предательство.

— Это страшнее предательства...»

Айсман почувствовал, как здание стало сотрясаться. «Наверное, бомбят совсем рядом, — подумал он. — Или кидают очень большие бомбы... Странный разговор...»

Он позвонил к дежурному. Тот вошел — иссиня-бледный, потный. Айсман спросил:

— Это была официальная запись или контрольная?

Дежурный тихо ответил:

— Сейчас, я должен уточнить.

— Бомбят близко?

— У нас выбило стекла...

— А в убежище вам уйти нельзя?

— Нет, — ответил дежурный. — Это запрещено.

Айсман хотел было продолжать прослушивание, но вернувшийся дежурный сообщил ему, что Штирлиц запись не вел. Это осуществлялось по указанию контрразведки — в целях контрольной проверки сотрудников центрального аппарата.

Шелленберг сказал:

— Это были тонные бомбы, не меньше.

— Видимо, — согласился Штирлиц. Он сейчас испытывал острое желание выйти из кабинета и немедленно сжечь ту бумагу, которая лежала у него в папке, — рапорт Гиммлеру о переговорах «изменников СД» с Западом. «Эта хитрость Шелленберга, — думал Штирлиц, — не так проста, как кажется. Пастор, видимо, интересовал его с самого начала. Как фигура прикрытия в будущем. То, что пастор понадобился именно сейчас, — симптоматично. И без ведома Гиммлера он бы на это не пошел!» Но Штирлиц понимал, что он должен не спеша, пошучивая, обговаривать с Шелленбергом все детали предстоящей операции.

— По-моему, улетают, — сказал Шелленберг, прислушиваясь. — Или нет?

— Улетают, чтобы взять новый запас бомб…

— Нет, эти сейчас будут развлекаться на базах. У них хватает самолетов, чтобы бомбить нас беспрерывно… Так, значит, вы считаете, что пастор, если мы возьмем его сестру с детьми как заложницу, обязательно вернется?

— Обязательно.

— И будет по возвращении молчать на допросе

у Мюллера о том, что именно вы просили его поехать туда в поиске контактов?

— Не убежден. Смотря кто его будет допрашивать.

— Лучше, чтобы у вас остались магнитофонные ленты с его беседами, а он… так сказать, сыграл в ящик при бомбежке?

— Подумаю.

— Долго хотите думать?

— Я бы просил разрешить повертеть эту идею как следует.

— Сколько времени вы собираетесь «вертеть идею»?

— Постараюсь к вечеру кое-что предложить.

— Хорошо, — сказал Шелленберг. — Улетели все-таки… Хотите кофе?

— Очень хочу, но только когда кончу дело.

— Хорошо. Я рад, что вы так точно все поняли, Штирлиц. Это будет хороший урок Мюллеру. Он стал хамить. Даже рейхсфюреру. Мы сделаем его работу и утрем ему нос. Мы очень поможем рейхсфюреру.

— А рейхсфюрер не знает об этом?

— Нет… Скажем так — нет. Ясно? А вообще мне очень приятно работать с вами.

— Мне тоже.

Шелленберг проводил штандартенфюрера до двери и, пожав ему руку, сказал:

— Если все будет хорошо, сможете поехать дней на пять в горы: там сейчас прекрасный отдых — снег голубой, загар коричневый… Боже, прелесть какая, а? Как же много мы забыли с вами во время войны!

— Прежде всего мы забыли самих себя, — ответил Штирлиц, — как пальто в гардеробе после крепкой попойки на Пасху.

— Да-да, — вздохнул Шелленберг, — как пальто в гардеробе… Стихи давно перестали писать?

— И не начинал вовсе.

Шелленберг погрозил ему пальцем:

— Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц.

— Могу поклясться, — улыбнулся Штирлиц, — все писал, кроме стихов: у меня идиосинкразия к рифме.

18.2.1945 (13 часов 53 минуты)

Уничтожив свое письмо к Гиммлеру и доложив адъютанту рейхсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на Принц-Альбрехтштрассе и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметен, хотя еще ночью

здесь был завал битого кирпича: бомбили теперь каждой ночью по два, а то и по три раза.

«Я был на грани провала, — думал Штирлиц. — Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором Шлагом, его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произнести это громко, то, значит, обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями: у него ранг в СС, как у Риббентропа или Фегеляйна. Шелленберг не мог мне не сказать про Вольфа — иначе я бы задал ему вопрос: „Как можно готовить операцию, играя втемную?“ Неужели Запад хочет сесть за стол с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером — сила, это они понимают. Это немыслимо, если они сядут за один стол! Ладно… Пастор будет приманкой, прикрытием, так они все задумали. Но они,

верно, не учли, что Шлаг имеет там сильные связи. Значит, я должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто — моими руками — отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шелленберга, к нему придут и из Ватикана, и от англо-американцев. Ясно. Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контринтерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него — во-первых, и имена тех, кого он представляет здесь — как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру, — во-вторых».

Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в «Вайнштюбе». Здесь было тихо, и никто не отвлекал его от раздумий.

«Один Шлаг — это и много и мало. Мне нужна страховка. Кто? — думал Штирлиц. — Кто же»

Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. «Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, — вино и коньяк. Впрочем,

от немцев можно ожидать чего угодно, только одно им не грозит — спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту банду. И который может быть не просто связным. Мне нужна личность…»

Такой человек у Штирлица был. Главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер помогал Штирлицу с тридцать девятого года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого, интеллектуала столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуго Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции: они спасли от провала группу советской разведки в сорок первом году, они достали особо секретные материалы о готовящемся наступлении вермахта в Крыму, и Плейшнер переправил их в Москву, получив разрешение гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете.

Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плейшнер, в прошлом проректор Кильского университета, после превентивного заключения в концлаге-

ре Дахау вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста — родственники настояли на этом: ее младший брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным, к нему благоволили и в МИДе, и в аппарате НСДАП, поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму: либо отмежеваться от врага государства, ее мужа, либо, если ей дороже ее эгоистические интересы, она будет подвергнута семейному суду, и все родственники публично, через прессу, объявят о полном с ней разрыве.

Фрау Плейшнер была моложе профессора на десять лет: ей было сорок два. Она любила мужа — они вместе путешествовали по Африке и Азии, там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане — это были люди, связанные на протяжении последних ста лет с текстильной торговлей, — потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Энс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого

публичного скандала. «Все равно, — объяснил он, — этим воспользуются наши враги. Зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется. Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно».

Он привел к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. Тридцатилетнего красавца звали Гетц. Над ним подшучивали: «Гетц на Берлихинген». Он был красив в такой же мере, как и глуп. Франц знал: он живет на содержании у стареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гетц, Франц фон Энс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно, по установившимся штампам, а коль скоро штампы создались, надо было доводить их до совершенства. Гетц был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты. Потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно щурился: сестра тихо смеялась, а Гетц, прижимая ее к себе все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо.

Через два дня Гетц переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю — до первой полицейской проверки. Фрау Плейшнер пришла к брату со слезами: «Верни мне его, это ужасно,

что мы не вместе». Назавтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора: он полагал, что жена — его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется.

Как-то ночью Гетц спросил ее: «Тебе было с ним лучше?» Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала: «Что ты, любимый… Он умел только хорошо говорить…»

После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентам, поэтому довольно часто, освободившись, он заходил к Плейшнеру, и они бродили по громадным пустым залам величественных «Пергамона» и «Бодо». Плейшнер уже знал, что Штирлиц обязательно будет долго любоваться скульптурой «Мальчик, вынимающий занозу»; он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря — из черного камня, с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом

организовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок: трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц, возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве…

Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самос.

— Мне кажется, — сказал он тогда, — что, прикоснись я к этой святыне, сразу же совершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних.

Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник.

Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил:

— Искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне — дети логиче-

ской завершенности, отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети.

— Детали одежды, точность решения торса действительно прекрасны, — осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить, в нем жило постоянное, осторожное несогласие — всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. — Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли, он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца восемнадцатого века, вы сможете убедиться в том, что Греция перекочевала в Париж, великая Эллада пришла к вольнодумцам…

Как-то Плейшнер задержал Штирлица возле фресок «человекозверей»: голова человека, а торс яростного вепря.

— Как вам это? — спросил Плейшнер.

Штирлиц подумал: «Похоже на сегодняшних немцев, превращенных в тупое, послушное, дикое стадо». Он ничего не ответил Плейшнеру и отделался некими «социальными» звука-

ми — так он называл «м-да», «действительно», «ай-ай-ай», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен.

Проходя через пустые залы «Пергамона», Штирлиц часто задавал себе вопрос: «Отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям? Почему они разрушали, и жгли, и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих ваятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему древние так неразумно отдавали своих живых богов на заклание варварам?»

Штирлиц допил свой грог и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне недостает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи? — Он усмехнулся: — По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. „С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой…“ Так, кажется, у Пастернака?»

— Герр обер! — окликнул он кельнера. — Я ухожу, счет, пожалуйста…

Информация к размышлению (Борман)

Об этом человеке никто ничего не знал. Он редко появлялся в кадрах кинохроники и еще реже на фотографиях возле фюрера. Небольшого роста, крутоголовый, со шрамом на щеке, он старался прятаться за спины соседей, когда фотографы щелкали затворами своих камер.

Говорили, что в 1924 году он просидел четырнадцать месяцев в тюрьме за политическое убийство. Никто толком не знал его до того дня, когда Гесс улетел в Англию. Гиммлер получил приказ фюрера навести порядок в «этом паршивом бардаке». Так фюрер отозвался о партийной канцелярии, шефом которой был Гесс — единственный из членов партии, называвший фюрера по имени и на «ты». За ночь люди Гиммлера провели более семисот арестов. Были арестованы близкие сотрудники Гесса, но аресты обошли ближайшего помощника шефа партийной канцелярии — его первого заместителя Мартина Бормана. Более того, он в определенной мере направлял руку Гиммлера: он спасал нужных

ему людей от ареста, а ненужных, наоборот, отправлял в лагеря.

Став преемником Гесса, он ничуть не изменился: был по-прежнему молчалив, так же ходил с блокнотиком в кармане, куда записывал все, что говорил Гитлер; жил по-прежнему очень скромно. Он держался подчеркнуто почтительно с Герингом, Гиммлером и Геббельсом, но постепенно, в течение года-двух, смог сделаться столь необходимым фюреру, что тот шутя называл его своей тенью. Он умел так организовать дело, что если Гитлер интересовался чем-нибудь, садясь за обед, то к кофе у Бормана уже был готовый ответ. Когда однажды в Берхтесгадене фюреру устроили овацию и получилась неожиданная, но тем не менее грандиозная демонстрация, Борман заметил, что Гитлер стоит на солнцепеке. Назавтра на том самом месте Гитлер увидел дуб: за ночь Борман организовал пересадку громадного дерева…

Он знал, что Гитлер никогда заранее не готовит речей: фюрер всегда полагался на экспромт, и экспромт ему обычно удавался. Но Борман, особенно во время встреч с государственными деятелями из-за рубежа, не забывал набросать для фюрера ряд тезисов, на которых стоило — с его точки

зрения — сконцентрировать наибольшее внимание. Он делал эту незаметную, но очень важную работу в высшей мере тактично, и у Гитлера ни разу не шевельнулось и мысли, что программные речи за него пишет другой человек, — он воспринимал работу Бормана как секретарскую, но необходимую и своевременную. И когда однажды Борман захворал, Гитлер почувствовал, что у него все валится из рук.

Когда военные или министр промышленности Шпеер готовили доклад, в котором фюреру преподносилась препарированная правда, Борман либо находил возможность доклад этот положить под сукно, либо в дружеской и доверительной беседе с Йодлем или со Шпеером уговаривал их смягчить те или иные факты.

— Давайте побережем его нервы, — говорил он, — этот суррогат горечи можем и должны знать мы, но зачем же травмировать фюрера?

Он был косноязычен, но зато умел прекрасно составлять деловые бумаги; он был умен, но скрывал это под личиной грубоватого, прямолинейного простодушия; он был всемогущ, но умел вести себя как простой смертный, который «должен посоветоваться», прежде чем принять мало-мальски ответственное решение…

Именно к этому человеку, к Мартину Борману, с секретной почтой из СД под грифом «С. секретно, вскрыть лично» попало письмо следующего содержания:

> «Партайгеноссе Борман! За спиной фюрера известные мне люди начинают вести игру с представителями прогнивших западных демократий в Швеции и Швейцарии. Это делается во время тотальной войны, это делается в дни, когда на полях сражений решается будущее мира. Являясь офицером СД, я смог бы информировать Вас о некоторых подробностях этих предательских переговоров. Мне нужны гарантии, поскольку, попади это мое письмо в аппарат СД, я буду немедленно уничтожен. Именно поэтому я не подписываюсь. Я прошу Вас, если мое сообщение Вам представляется важным, приехать завтра к отелю „Нойе тор“ к 13.00. Преданный фюреру член СС и НСДАП».

Борман долго сидел с этим письмом в руках. Он думал позвонить шефу гестапо Мюллеру. Он знал, как Мюллер ему обязан. Мюллер, старый сыщик,

два раза в начале тридцатых годов громил баварскую организацию Национал-социалистской партии. Потом он перешел на службу этой партии, когда она стала государственной партией Германии. До 1939 года шеф гестапо был беспартийным: коллеги в службе безопасности не могли ему простить усердия во время Веймарской республики. Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко, присматривался к Мюллеру, взвешивая шансы: если уж приближать его — то до конца, посвящая в святая святых. Иначе игра не стоит свеч.

«Что это? — думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. — Провокация? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет — это похоже на правду… А если он из гестапо и если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля — все возможно… Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные деньги в нейтральные банки на имена моих, а не его людей…»

Борман долго размышлял над этим письмом,

но к определенному решению так и не пришел.

…Айсман включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица.

«– Скажите, вам было страшно эти два месяца, проведенные в нашей тюрьме?

— Мне было страшно все эти одиннадцать лет вашего пребывания у власти.

— Демагогия. Я спрашиваю: вам было страшно то время, которое вы провели у нас в камере, в тюрьме?

— Разумеется.

— Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо? Если мы вас выпустим?

— Нет. Мне вообще не хотелось бы иметь с вами дела.

— Прекрасно. Но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, чисто человеческих?

— Чисто человеческие добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям. В той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер Национал-социалистской партии, вы и будете для меня

человеком.

— Но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь.

— Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению или строите какой-то расчет?

— Я строю на вас расчет.

— В таком случае я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая.

— Считайте, что мои цели избыточно честны.

— Что вы будете просить меня сделать?

— У меня есть приятели — люди науки, партийные функционеры, военные, журналисты — словом, личности. Мне было бы занятно, если бы вы, когда мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас, побеседовали с этими людьми. Я не буду у вас просить отчета об этих беседах. Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате, но вы можете пойти в лес, поговорить там. Мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать?

— Допустим… Но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предложение.

— А вы спрашивайте.

— Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого, либо вы меня провоцируете. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу.

— То есть?

— То есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я — человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером.

— Что вас убедит в том, что я вас не провоцирую?

— Только взгляд в глаза.

— Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами».

— Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме, — попросил Айсман, кончив прослушивать пленку. — Все о его манере поведения, о контактах, разговоры с другими заключенными… Словом, максимум подробностей.

…Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлаг был из тюрьмы освобожден. Из дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД, или его осво-

бождение явилось следствием каких-то иных, непонятных причин. Была только директива Шелленберга выпустить Шлага под наблюдение Штирлица. И все.

Еще через полчаса ему принесли последний документ: со Шлагом после освобождения работал специальный агент VI управления Клаус.

— Где его материалы? — спросил Айсман.

— Он был на прямой связи со штандартенфюрером Штирлицем.

— Что, записей не осталось?

— Нет, — ответили ему из картотеки, — записи в интересах операции не велись…

— Найдите мне этого агента, — попросил Айсман. — Но так, чтобы об этом знали только три человека: вы, я и он…

27.2.1945 (12 часов 01 минута)

На встречу с Борманом — а Штирлиц очень надеялся, что эта встреча состоится, насадка на крючок была вкусной, — он ехал медленно, кружа по улицам, перепроверяя на всякий случай, нет ли за ним «хвоста». Эту проверку он устроил машинально; ничто за последние дни не казалось ему тревожным, и ни разу он не просыпался среди ночи, как бывало раньше, когда он всем

существом своим чувствовал тревогу. Он тогда подолгу лежал с открытыми глазами, не включая света, и тщательно анализировал каждую свою минуту, каждое слово, произнесенное в беседе с любым человеком, даже с молочником, даже со случайным попутчиком в вагоне метро. Штирлиц старался ездить только на машине — избегал случайных контактов. Но он считал, что вообще изолировать себя от мира тоже глупо, мало ли какое задание могло прийти. Вот тогда резкая смена поведения могла насторожить тех, кто наблюдал за ним, а уж то, что в рейхе за каждым наблюдали, — это Штирлиц знал наверняка.

Он тщательно продумывал все мелочи: люди его профессии обычно сгорали на пустяках. Именно отработка мелочей дважды спасала его от провала.

...Штирлиц машинально посмотрел в зеркальце и удивленно присвистнул: тот «вандерер», что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. Штирлиц резко нажал на педаль акселератора — «хорьх» сильно взял с места. Штирлиц понесся к Александерплац, потом повернул к Бергштрассе, мимо кладбища вывернул на Ветераненштрассе, оглянулся и понял, что «хвост» — если это был

«хвост» — отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика «Грубый Готлиб» и здесь — время у него еще было — остановился.

«Если они снова прицепятся, — подумал он, — значит, что-то случилось. А что могло случиться? Сейчас сядем, выпьем коньяку и подумаем, что могло случиться…»

Он очень любил этот старинный кабачок. Он назывался «Грубый Готлиб» потому, что хозяин, встречая гостей, говорил всем — вне зависимости от рангов, чинов и положения в обществе:

— Чего приперся, жирный боров? И бабу с собой привел — ничего себе… Пивная бочка, туша старой коровы, вымя больной жирафы, а не баба! Сразу видно, жена! Небось вчера с хорошенькой тварью приходил! Буду я тебя покрывать, — пояснял он жене гостя, — так я тебя и стану покрывать, собака паршивая…

Постепенно Штирлиц стал замечать, что наиболее уважаемых клиентов Грубый Готлиб ругал особенно отборными ругательствами: в этом, вероятно, тоже сказывалось уважение — уважение наоборот.

Готлиб встретил Штирлица рассеянно:

— Иди жри пиво, дубина…

Штирлиц пожал ему руку, сунул две марки и сел к крайнему дубовому столику, за колонной, на которой были написаны ругательства мекленбургских рыбаков — соленые и неуемно-циничные. Это особенно нравилось стареющим женам промышленников.

«Что могло случиться? — продолжал думать он, попивая свой коньяк. — Связи я не жду — отсюда провала быть не может. Старые дела? Они не успевают управляться с новыми — саботаж растет, такого саботажа в Германии не бывало. Эрвин… Стоп. А что, если они нашли передатчик?»

Штирлиц достал сигареты, но именно потому, что ему очень хотелось крепко затянуться, он не стал курить вовсе.

Ему захотелось сейчас же поехать к развалинам дома Эрвина и Кэт.

«Я сделал главную ошибку, — понял он. — Я должен был сам обшарить все больницы: вдруг они ранены? Телефонам я зря поверил. Этим я займусь сразу после того, как поговорю с Борманом… Он должен прийти ко мне: когда их жмут, они делаются демократичными. Они бывают недоступными, когда им хорошо, а если они чувствуют конец, они становятся трусливыми,

добрыми и демократичными. Сейчас я должен отложить все остальное, даже Эрвина и Кэт. Сначала я должен договориться с этим палачом».

Он вышел, сел за руль и не спеша поехал на Инвалиденштрассе, к Музею природоведения. Туда, к отелю «Нойе тор», скоро должен приехать Борман.

Он ехал очень медленно, то и дело поглядывая в зеркальце: черного «вандерера» сзади не было.

«Может быть, это Шелленберг решил пощупать меня перед операцией со Шлагом? — подумал он. — Тоже, между прочим, резонное объяснение. А может, сдают нервы?»

Он снова посмотрел в зеркальце — нет, улица была пустынной. На тротуарах, пользуясь затишьем, детишки гоняли друг за другом на роликах и звонко смеялись. К обшарпанным стенам домов жались очереди: видимо, люди ждали мяса.

Штирлиц бросил машину возле клиники «Шарите» и, пройдя через большой больничный парк, вышел к музею. Здесь было тихо и спокойно: ни одного человека на улице. Он специально выбрал именно это место: здесь все просматривалось как на ладони.

«Впрочем, они могли посадить своих людей в отеле. Если Борман стукнул Гиммлеру, так

и будет сделано. А если нет, то его люди будут шататься здесь, у входа, на противоположной стороне, изображая научных сотрудников, не иначе…»

Штирлиц сегодня был в штатском, он надел к тому же свои дымчатые очки в большой роговой оправе и низко на лоб напялил берет — так что издали его трудно было узнать. При входе в музей, в вестибюле, был установлен огромный малахит с Урала и аметист из Бразилии. Штирлиц всегда подолгу стоял возле аметиста, но любовался он уральским самоцветом.

Потом он неторопливо прошел через громадный зал с выбитыми стеклами: там был макет диковинного динозавра. Отсюда он мог наблюдать за площадью перед музеем и за отелем. Нет, все было спокойно и тихо, даже слишком спокойно и тихо. Штирлиц был в музее один — сейчас это играло против него.

Он остановился возле занятного экспоната: тринадцать стадий развития черепа. Череп № 8 — павиан, № 9 — гиббон, № 10 — орангутанг, № 11 — горилла, № 12 — шимпанзе, № 13 — человек.

«Почему тринадцатый — человек? Все против человека, даже цифры, — хмыкнул он про себя. —

Хоть бы двенадцатый был или четырнадцатый. А нет, на тебе — именно тринадцатый… Кругом обезьяны, — продолжал думать он, задержавшись возле чучела гориллы Бобби. — Почему обезьяны окружены такой заботой, а?»

На планочке была надпись: «Горилла Бобби привезена в Берлин 29 марта 1928 года в возрасте трех лет. Умерла 1 августа 1935 года, 1,72 метра высоты и 266 килограммов веса».

«А незаметно, — думал Штирлиц, в который раз уже разглядывая чучело, — вроде и не жирная. Я выше ее, а вешу семьдесят два».

Он отошел подальше, словно рассматривая ее издали, и оказался возле большого окна, из которого был виден противоположный тротуар Инвалиденштрассе. Штирлиц посмотрел на часы. До встречи оставалось десять минут.

Именно сейчас к нему по легенде должен был прийти агент Клаус. Он послал по его адресу шифровку сегодня утром — через секретариат. Все знали, что он встречается с агентами в музеях. Вызвав Клауса, он преследовал две цели: главную — алиби, если Борман сообщит о письме Гиммлеру, а тот прикажет прочесать весь район и все здания возле «Нойе тор»; и второстепенную — еще раз подтвердить, хотя бы и косвенно,

алиби в деле исчезнувшего Клауса.

Штирлиц перешел в следующий зал: на Инвалиденштрассе было по-прежнему пусто. Здесь он задержался возле редкостного экспоната, найденного в лесах Веденшлосс в восемнадцатом веке. Из куска дерева торчали рога оленя и кусок размозженного черепа: видимо, сильное животное промахнулось во время весенних любовных боев, и удар пришелся не в соперника, а в ствол…

Штирлиц услышал шум многих голосов и шаги — много гулких шагов. «Облава!» Но потом он услышал детские голоса и обернулся: учительница в старых, стоптанных, начищенных до блеска мужских ботинках привела учеников — видимо, шестого класса — проводить здесь урок ботаники. Ребята смотрели на экспонаты очарованно и не шумели, и быстрый шепот их был из-за этого тревожен.

Штирлиц смотрел на детей. Глаза их были лишены детского, прекрасного озорства. Они слушали учительницу сосредоточенно, очень взросло.

«Какое же проклятие висит над этим народом? — подумал Штирлиц. — Как могло статься, что бредовые идеи обрекли детей на этот голодный, стариковский ужас? Почему нацистам,

спрятавшимся в бункеры, где запасы шоколада, сардин и сыра, удалось выставить своим заслоном хрупкие тела этих мальчуганов? И — самое страшное — как воспитали в этих детях слепую уверенность, что высший смысл жизни — это смерть за идеалы фюрера?»

Он вышел через запасной вход пять минут второго. Никого возле отеля не было. Задами Штирлиц пробрался к Шпрее, сделал круг, сел в машину и поехал к себе — в СД. «Хвоста» за собой он не увидел и на обратном пути.

«Тут что-то не так, — сказал он себе. — Что-то вышло странное. Если бы ждал Борман, я бы не мог не заметить».

...А Борман не мог уйти из бункера: фюрер произносил речь, и в зале было много людей, а он стоял сзади, чуть левее фюрера. Он не мог уйти во время речи фюрера. Это было бы безумием. Он хотел уйти, он решил увидеть того человека, который писал ему. Но он вышел из бункера только в три часа.

«Как же мне найти его? — думал Борман. — Я ничем не рискую, встретившись с ним, но я рискую, отказываясь от встречи».

«Д-8 – Мюллеру Совершенно секретно.

Напечатано в одном экз.

Автомобиль марки „хорьх“, номерной знак ВКР-821, оторвался от наблюдения в районе Ветераненштрассе. Судя по всему, водитель заметил машину наблюдения. Памятуя ваши указания, мы не стали преследовать его, хотя форсированный мотор позволял нам это сделать. Передав службе Н-2 сообщение о направлении, в котором поехал „хорьх“ ВКР-821, мы вернулись на базу».

«В-192 – Мюллеру Совершенно секретно.

Напечатано в одном экз.

Приняв наблюдение за машиной марки „хорьх“, номерной знак ВКР-821, мои сотрудники установили, что владелец этого автомобиля в 12.27 вошел в здание Музея природоведения. Поскольку мы предупреждены о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения, я принял решение не „вести“ его по музею одним или двумя „посетителями“. Мой агент Ильзе получила задание привести своих учеников из средней школы для проведения урока в залах музея. Дан-

ные наблюдения Ильзе позволяют с полной убежденностью сообщить, что объект ни с кем из посторонних в контакт не входил. Графический план экспонатов, возле которых объект задерживался дольше, чем у других, прилагаю. Объект покинул помещение через запасной выход, которым пользуются работники музея, в 13.05».

27.2.1945 (15 часов 00 минут)

Мюллер спрятал донесение в папку и поднял трубку телефона.

— Мюллер, — ответил он, — слушает вас.

— «Товарища» Мюллера приветствует «товарищ» Шелленберг, — пошутил начальник политической разведки. — Или вас больше устраивает обращение «мистер»?

— Меня больше всего устраивает обращение «Мюллер», — сказал шеф гестапо. — Категорично, скромно и со вкусом. Я слушаю вас, дружище.

Шелленберг прикрыл трубку телефона ладонью и посмотрел на Штирлица. Тот сказал:

— Да. И сразу в лоб. А то он уйдет, он как лис…

— Дружище, — сказал Шелленберг, — ко мне пришел Штирлиц, вы, может быть, помните его…

Да? Тем более. Он в определенной растерянности: либо за ним следят преступники, а он живет в лесу один; либо ему на «хвост» сели ваши люди. Вы не помогли бы разобраться в этом деле?

— Какой марки его автомобиль?

— Какой марки ваш автомобиль? — снова закрыв трубку ладонью, спросил Шелленберг.

— «Хорьх».

— Не закрывайте вы ладонью трубку, — сказал Мюллер, — пусть возьмет трубку Штирлиц.

— Вы что, всевидящий? — спросил Шелленберг.

Штирлиц взял трубку и сказал:

— Хайль Гитлер!

— Добрый день, дружище, — ответил Мюллер. — Номерной знак вашей машины, случаем, не ВКР — восемьсот двадцать один?

— Именно так, обергруппенфюрер…

— Где они сели к вам на «хвост»? На Курфюрстендамм?

— Нет. На Фридрихштрассе.

— Оторвались вы от них на Ветераненштрассе?

— Так точно.

Мюллер засмеялся:

— Я им головы посворачиваю — тоже мне,

работа! Не волнуйтесь, Штирлиц, за вами шли не преступники. Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят «хорьх», похожий на ваш… Одного южноамериканца. Продолжайте жить как жили, но, если мне, паче чаяния, спутав вас снова с южноамериканцами, донесут, что вы посещаете «Цыгойнакеллер» на Кудам, я покрывать вас не стану…

«Цыгойнакеллер» — «Цыганский подвал» — маленький кабак, куда было запрещено ходить военным и членам партии.

— А если мне надо там бывать по делам работы? — спросил Штирлиц.

— Все равно, — усмехнулся Мюллер, — если хотите назначать встречи своим людям в клоаках, лучше ходите в «Мехико».

Это был «хитрый» кабак Мюллера, в нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом: был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать «Мехикобар» членам партии и военным, поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что столик прослушивается гестапо.

— Тогда — спасибо, — ответил Штирлиц. —

Если вы мне даете санкцию, я буду назначать встречи моим людям именно в «Мехико». Но если меня возьмут за жабры — я приду к вам за помощью.

— Приходите. Всегда буду рад видеть вас. Хайль Гитлер!

Штирлиц вернулся к себе со смешанным чувством: он, в общем-то, поверил Мюллеру, потому что тот играл в открытую. Но не слишком ли в открытую? Чувство меры — вопрос вопросов любой работы. В разведке — особенно. Порой даже чрезмерная подозрительность казалась Штирлицу менее безопасной, чем избыточная откровенность.

> «Мюллеру Совершенно секретно.
>
> Напечатано в одном экз.
>
> Сегодня в 19.42 объект вызвал служебную машину ВКН-441. Объект попросил шофера отвезти его к остановке метро „Миттльплац“. Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других станциях оказалась безуспешной.
>
> ***ВЕРНЕР».***

Мюллер спрятал это донесение в свою потрепанную папку, где лежали наиболее секретные

и важные дела, и снова вернулся к изучению материалов по Штирлицу. Он отметил красным карандашом то место, где сообщалось, что все свободное время объект любит проводить в музеях, назначая там свидания своим агентам.

Мера доверия

Обергруппенфюрер СС Карл Вольф передал письмо личному пилоту Гиммлера.

— Если вас собьют, — сказал он своим мягким голосом, — на войне как на войне, все может быть, вы обязаны это письмо сжечь еще до того, как отстегнете лямки парашюта.

— Я не смогу сжечь письмо до того, как отстегну лямки парашюта, — ответил педантичный пилот, — оттого, что меня будет тащить по земле. Но первое, что я сделаю, отстегнув лямки, так это сожгу письмо.

— Хорошо, — улыбнулся Вольф, — давайте согласимся на этот вариант. Причем вы обязаны сжечь это письмо, даже если вас подобьют над рейхом.

У Карла Вольфа были все основания опасаться: попади его письмо в руки любого другого человека, кроме Гиммлера, — и судьба его была бы решена.

Через семь часов письмо было распечатано Гиммлером.

«Рейхсфюрер!

Сразу по возвращении в Италию я начал разрабатывать план выхода на Даллеса: не в организационном аспекте, но скорее в стратегическом. Данные, которыми я здесь располагал, позволили мне сделать главный вывод: союзников так же, как и нас, тревожит реальная перспектива создания в Северной Италии коммунистического правительства. Даже если такое правительство будет создано чисто символически, Москва получит прямой путь к Ла-Маншу – через коммунистов Тито, с помощью итальянских коммунистических вождей и Мориса Тореза. Таким образом, возникает близкая угроза создания „пояса большевизма“ от Белграда, через Геную – в Канны и Париж.

Моим помощником в операции стал Эуген Дольман – его мать, кстати говоря, итальянка, имеет самые широкие связи среди высшей аристократии, настроенной прогермански, но антинацистски. Однако для меня понятия „Германия“ и „национализм“ неразделимы, и, поскольку германофильские настроения

фрау Дольман превалируют над остальными, я считал целесообразным привлечь Эугена для разработки деталей операции, считая, что связи его матери могут нам пригодиться в плане соответствующей обработки союзников.

Я решил, и Дольман взялся через итальянские каналы проинформировать Даллеса, что смысл возможных переговоров заключается в том, чтобы Запад смог взять под контроль всю Северную Италию до того, как хозяевами положения окажутся коммунисты. Причем мы считали, что инициатива должна исходить не от нас: мне казалось более целесообразным, чтобы союзники смогли „узнать“ об этих моих настроениях через свои агентурные возможности. Поэтому я дал санкцию Дольману на проведение следующей операции: по сводкам гестапо, младший офицер танковых войск СС Гидо Циммер был замечен в неоднократных беседах с итальянцами о том, что война проиграна и положение безнадежно. На дружеской вечеринке, куда „случайно“ попал Дольман, он,

уже под утро, когда было много выпито, сказал Циммеру, что утомлен этой проклятой, бесцельной войной. Агентурная разработка позволила мне установить, что уже на следующий день Циммер в беседе с бароном Луиджи Парилли сказал, что если Дольман говорит о проклятии войны, то, значит, так же думает и Карл Вольф, а в руках Вольфа судьба всей Северной Италии и всех немецких войск, расквартированных здесь. Луиджи Парилли в прошлом являлся представителем американской компании „Кэлвилэйшн корпорейшн", и его контакты с Америкой здесь широко известны, хотя он всегда поддерживал режим дуче. При этом его тесть – крупный ливанский банкир, связанный как с британским, так и с французским капиталом. Беседа Циммера с Парилли оказалась достаточным поводом для того, чтобы Дольман, пригласив Гидо Циммера на конспиративную квартиру, выложил ему все собранные на него компрометирующие данные. „Этого хватит, чтобы сейчас же отправить вас на виселицу, – сказал он

Циммеру, – спасти вас может только одно – честная борьба за Германию. А этой борьбе важны и дипломатические, невидимые сражения“.

Словом, Циммер дал согласие работать на нас. Назавтра Циммер, встретившись с бароном Парилли, сказал ему, что только вождь СС в Италии Вольф может спасти Северную Италию от коммунистической угрозы, которую несут с собой партизаны, орудующие в горах и городах всей страны, но, естественно, если бы он действовал вместе с союзниками, это можно было бы сделать стремительно и наверняка. Барон Парилли, имеющий крупные финансовые интересы в Турине, Генуе и Милане, выслушал Циммера с большим интересом и взялся помочь нам в налаживании подобного рода контактов с западными союзниками. Естественно, Циммер написал рапорт об этой беседе на мое имя, и, таким образом, вся операция была с этого момента подстрахована, ей был придан вид игры с союзниками, проводимой под контролем СС в интересах фюрера и рейха.

21 февраля барон Парилли выехал в Цюрих. Там он связался со своим знакомым Максом Гюсманом. Он помог установить контакт с майором Вайбелем, кадровым офицером швейцарской разведки. Вайбель мотивировал свое согласие помочь в установлении контактов между СС и американцами исходя из эгоистических интересов подданного Швейцарии: дело заключается в том, что Генуя – это порт, используемый главным образом швейцарскими фирмами. Попади Италия под коммунистическое иго – пострадают и швейцарские фирмы. При этом я смог установить, что майор Вайбель получил образование в Германии, окончив университеты Базеля и Франкфурта.

В беседе с бароном Парилли Вайбель сказал, что следует соблюдать максимальную осторожность, поскольку он рискует, помогая налаживанию контактов. Это, сказал он, нарушает нейтралитет Швейцарии, а сейчас позиция русских так сильна, что нарушение тайны заставит его правительство отмежеваться от него и сосредоточить весь возможный

удар персонально на нем. Парилли заверил майора Вайбеля, что в разглашении тайны не заинтересован никто, кроме русских или коммунистов. „А поскольку, – продолжал он, – среди нас, я надеюсь, нет ни одного коммуниста, а тем более русского, можно не опасаться за утечку информации“.

Как сообщил Вайбель, назавтра после беседы с Парилли он пригласил на обед Аллена Даллеса и его помощника Геверница. „У меня есть два приятеля, которые выдвигают интересную идею, – сказал он, – если вы хотите, я могу вас познакомить“. Даллес ответил, что он хотел бы встретиться с товарищами Вайбеля позже – после того, как с ними побеседует его помощник.

Состоялась беседа между Парилли и Геверницем. Я Вам сообщал уже, что этот Геверниц является сыном не Эгона Геверница, но Герхарда фон Шульц-Геверница, профессора экономики Берлинского университета. Поехав в Америку после защиты докторской диссертации во Франкфурте (я, кстати, задумался, не был ли

установлен первый контакт между Вайбелем и Геверницем еще в Германии, оба они окончили один и тот же университет), он начал работать в международных банковских концернах в Нью-Йорке, где тогда же подвизался Аллен Даллес.

Во время беседы Парилли задал вопрос: „Готовы ли вы встретиться со штандартенфюрером СС Дольманом для более конкретного обсуждения этой и ряда других проблем?“ Геверниц ответил согласием на это предложение, хотя, по мнению Парилли, он отнесся к высказанному им предложению с определенной недоверчивостью и подозрительностью, свойственной интеллигентам, пришедшим в разведку.

Я дал санкцию на поездку Дольмана в Швейцарию. Там, на озере Чиасо, он был встречен Гюсманом и Парилли. Когда они прибыли в Лугано, в маленький ресторан „Бьянки“, Дольман, как и было обговорено, заявил: „Мы хотим переговоров с западными союзниками для того, чтобы сорвать план Москвы по созданию коммунистического правительства Се-

верной Италии. Эта задача заставляет нас отбросить прежние обиды и думать о завтрашнем дне, зачеркнув всю взаимную боль дня вчерашнего. Мир должен быть справедливым и достойным“.

Гюсман ответил, что единственно возможные переговоры – это переговоры о безоговорочной капитуляции.

„Я не пойду на предательство, – сказал Дольман, – да и никто в Германии не пойдет на это“.

Гюсман, однако, настаивал на концепции „безоговорочной капитуляции“, но разговора не прекращал, несмотря на твердую отрицательную позицию, занятую Дольманом согласно той партитуре, которую мы с ним предварительно расписали.

Далее, перебив Гюсмана, в беседу включился помощник А. Даллеса Поль Блюм. Именно Блюм передал Дольману фамилии двух руководителей итальянского Сопротивления: Ферручи Парри и Усмияни. Эти люди находятся в нашей тюрьме. Они не являются коммунистами, и это дало нам возможность сделать вывод:

американцы так же, как и мы, озабочены коммунистической угрозой Италии. Им нужны герои Сопротивления некоммунисты, которые смогли бы в нужный момент возглавить правительство, верное идеалам Запада.

„Если эти люди будут освобождены и привезены в Швейцарию, – сказал представитель Даллеса, – мы могли бы продолжить наши встречи“.

Когда Дольман вернулся ко мне, я понял, что переговоры начались, ибо никак иначе нельзя истолковать просьбу об освобождении двух итальянцев. Дольман высказал предположение, что Даллес ждет моего прибытия в Швейцарию. Я отправился к фельдмаршалу Кессельрингу. В результате пятичасовой беседы я сделал вывод, что фельдмаршал согласится на почетную капитуляцию, хотя никаких прямых заверений Кессельринг не давал, вероятно в силу традиционного опасения говорить откровенно с представителем службы безопасности.

Назавтра Парилли посетил меня на конспиративной квартире возле озера Гарда и передал мне от имени Даллеса приглашение на совещание в Цюрих. Таким образом, послезавтра я отправляюсь в Швейцарию. В случае если это ловушка, я выдвину официальную версию о похищении. Если же это начало переговоров – я буду информировать вас следующим письмом, которое отправлю сразу же по возвращении в свою ставку.

Ваш КАРЛ ВОЛЬФ».

* * *

«Пергамон» разбомбили англичане, но профессор Плейшнер не стал эвакуироваться со всеми научными сотрудниками. Он испросил себе разрешение остаться в Берлине и быть хранителем хотя бы той части здания, которая уцелела.

Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц.

Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник.

— Вы тут не мерзнете?

— Мерзну до полнейшего окоченения. А что

прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать? — ответил Плейшнер.

— В бункере у фюрера очень жарко топят…

— Ну, это понятно… Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах.

Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал: ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал:

— Будет вам, профессор… Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит как сволочь в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой…

Лицо Плейшнера сделалось мучнисто-белым, и Штирлиц пожалел, что сказал все это, и пожалел, что он вообще пришел к несчастному старику со своим делом.

«Хотя почему это мое дело? — подумал он. — Больше всего это их, немцев, дело и, следовательно, его дело».

— Ну, — сказал Штирлиц, — отвечайте же… Вы не согласны со мной?

Профессор по-прежнему молчал.

— Так вот, — сказал Штирлиц, — ваш брат

и мой друг помогал мне. Вы никогда не интересовались моей профессией: я штандартенфюрер СС и работаю в разведке.

Профессор всплеснул руками, словно закрывая лицо от удара.

— Нет! — сказал он. — Нет и еще раз нет! Мой брат никогда не был и не мог быть провокатором! Нет! — повторил он уже громче. — Нет! Я вам не верю!

— Он не был провокатором, — ответил Штирлиц, — а я действительно работаю в разведке. В советской разведке…

И он протянул Плейшнеру письмо. Это было предсмертное письмо его брата:

«Друг. Спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить и во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плейшнер».

— Он написал так, опасаясь гестапо, — пояснил Штирлиц, забирая письмо. — Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Их-то, большевиков и американцев, мы и обязаны, как учит ваш брат, ненавидеть… Не так ли?

Плейшнер долго молчал, забившись в громадное кресло.

— Я аплодирую вам, — сказал он наконец, — я понимаю… Вы можете положиться на меня во всем. Но я должен сказать нам сразу: как только меня ударят плетью по ребрам, я скажу все.

— Я знаю, — ответил Штирлиц. — Что вы предпочитаете: моментальную смерть от яда или пытки в гестапо?

— Если не дано третьего, — улыбнулся Плейшнер своей неожиданной беззащитной улыбкой, — естественно, я предпочитаю яд.

— Тогда мы сварим кашу, — улыбнулся Штирлиц, — хорошую кашу…

— Что я должен сделать?

— А ничего. Жить. И быть готовым в любую минуту к тому, чтобы сделать необходимое.

7.3.1945 (22 часа 03 минуты)

— Добрый вечер, пастор, — сказал Штирлиц, быстро затворяя за собой дверь. — Простите, что я так поздно. Вы уже спали?

— Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это не тревожит вас; входите, пожалуйста, сейчас я зажгу свечи. Присаживайтесь.

— Спасибо. Куда позволите?

— Куда угодно. Здесь теплее, у кафеля. Может быть, сюда?

— Я сразу простужаюсь, если выхожу из тепла в холод. Всегда лучше одна, постоянная температура. Пастор, кто у вас жил месяц тому назад?

— У меня жил человек.

— Кто он?

— Я не знаю.

— Вы не интересовались, кто он?

— Нет. Он просил убежища, ему было плохо, и я не мог ему отказать.

— Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им никогда не был. Он мой агент, он провокатор гестапо.

— Ах вот оно что… Я говорил с ним как с человеком. Не важно, кто он: коммунист или ваш агент. Он просил спасения. Я не мог отказать ему.

— Вы не могли ему отказать, — повторил Штирлиц, — и вам не важно, кто он: коммунист или агент гестапо… А если из-за того, что вам важен «просто человек», абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу — это для вас важно?!

— Да, это важно для меня…

— А если — еще более конкретно — на виселицу первыми попадут ваша сестра и ее дети, — это

для вас важно?

— Это же злодейство!

— Говорить, что вам не важно, кто перед вами — коммунист или агент гестапо, — еще большее злодейство, — ответил Штирлиц, садясь. — Причем ваше злодейство догматично, а поэтому особенно страшно. Сядьте. И слушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я делал, это все делал он. Я не знаю, что с ним: он прислал мне странное письмо. И потом, без пленки, которую я уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут говорить, ибо он мой агент. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии.

— Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии.

— Вы пересечете ее, а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности.

— Вы словно оборотень… Как я могу верить вам, если у вас столько лиц?

— Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя бы для того, чтобы спасти жизнь своих близких. Или нет?

— Да. Я поеду. Чтобы спасти им жизнь.

— Отчего вы не спрашиваете, что вам придется

делать в Швейцарии? Вы откажетесь ехать туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли?

— Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и что выше моих сил…

— Правильно. Вам жаль Германию?

— Мне жаль немцев.

— Хорошо. Кажется ли вам, что мир — не медля ни минуты — это выход для немцев?

— Это выход для Германии…

— Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества. Нам погибать не страшно — мы отжили свое, и потом, мы одинокие стареющие мужчины. А дети?

— Я слушаю вас.

— Кого вы сможете найти в Швейцарии из ваших коллег по движению пацифистов?

— Диктатуре понадобились пацифисты?

— Нет, диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны — это новые жертвы, причем бессмысленные.

— Гитлер пойдет на переговоры?

— Гитлер на переговоры не пойдет. На переговоры пойдут иные люди. Но это преждевременный разговор. Сначала мне нужно иметь

гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые обладают достаточным весом. Нужны люди, которые смогут помочь вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто может помочь вам в этом?

Пастор пожал плечами:

— Фигура президента Швейцарской Республики вас устроит?

— Нет. Это официальные каналы. Это несерьезно. Я имею в виду деятелей церкви, которые имеют вес в мире.

— Все деятели церкви имеют вес в этом мире, — сказал пастор, но, увидев, как снова дрогнуло лицо Штирлица, быстро добавил: — У меня там много друзей. Было бы наивностью с моей стороны обещать что-либо, но я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Брюнинг, например… Его уважают… Однако меня будут спрашивать, кого я представляю.

— Немцев, — коротко ответил Штирлиц. — Если вас спросят, кто конкретно намерен вести переговоры, вы спросите: «А кто конкретно поведет их со стороны Запада?» Но это через связь, которую я вам дам…

— Через что? — не понял пастор.

Штирлиц улыбнулся и пояснил:

— Все детали мы еще оговорим. Пока нам важна принципиальная договоренность.

— А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу?

— Я освободил вас из тюрьмы?

— Да.

— Как вы думаете, это было легко?

— Думаю, что нет.

— Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог бы я послать вас в печь?

— Бесспорно.

— Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности. До тех пор, естественно, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах.

— Вы угрожаете мне?

— Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру.

— Когда все это должно произойти?

— Скоро. И последнее: кто бы ни спросил вас о нашем разговоре…

— Я стану молчать.

— Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой?

— Я буду молчать.

— Хочу вам верить…

— Кто из нас двоих сейчас больше рискует?

— Как вам кажется?

— Мне кажется, что больше рискуете вы.

— Правильно.

— Вы искренни в желании найти мир для немцев?

— Да.

— Вы недавно пришли к этой мысли: дать мир людям?

— Да как вам сказать, — ответил Штирлиц, — трудно ответить до конца честно, пастор. И чем честнее я отвечу, тем большим лжецом, право слово, могу вам показаться.

— В чем будет состоять моя миссия более конкретно? Я ведь не умею воровать документы и стрелять из-за угла…

— Во-первых, — усмехнулся Штирлиц, — этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя — имя я вам назову позже — провоцирует Запад. Вы объясните, что этот или тот человек Гиммлера не может хотеть мира, вы докажете своим друзьям, что

этот человек — провокатор, лишенный веса и уважения даже в СС. Вы скажете, что вести переговоры с таким человеком — не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите им, что это безумие — идти на переговоры с СС, с Гиммлером, что переговоры надо вести с иными людьми, и назовете им серьезные имена сильных и умных людей. Но это — после.

Перед тем как уйти, он спросил:

— Кроме вашей прислуги, в доме никого нет?

— Прислуги тоже нет дома, она уехала к родным в деревню.

— Можно осмотреть дом?

— Пожалуйста…

Штирлиц поднялся на второй этаж и посмотрел из-за занавески на улицу: центральная аллея маленького городка просматривалась отсюда вся. На аллее никого не было.

Через полчаса Штирлиц приехал в бар «Мехико»: там он назначил встречу своему агенту, работавшему по вопросам сохранения тайны «оружия возмездия». Штирлиц хотел порадовать шефа гестапо — пусть завтра послушает разговор. Это будет хороший разговор умного нацистского разведчика с умным нацистским ученым: после ареста гестаповцами специалиста по атомной

физике Рунге Штирлиц не забывал время от времени подстраховывать себя — и не как-нибудь, а обстоятельно и всесторонне.

8.3.1945 (09 часов 32 минуты)

— Доброе утро, фрау Кин. Как наши дела? Что маленький?

— Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, и я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его: вроде бы все в порядке.

— Ну и слава богу! Бедные дети… Такие страдания для малюток, только-только вступающих в мир! В этот грозный мир… А у меня для вас новости.

— Хорошие?

— В наше время все новости дурные, но для вас они скорее хорошие.

— Спасибо, — откликнулась Кэт. — Я никогда не забуду вашей доброты.

— Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль?

— Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов обморочной дурноты.

— Это симптомы сотрясения мозга.

— Да. Если бы не моя грива — мальчика не было б вовсе. Грива приняла на себя первый удар той стальной балки.

— У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями?

— Да. Дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни.

Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей «господин из страховой компании». Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверенной. Она придумала несколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это — самый трудный вопрос, которого она постарается сегодня избежать, сказавшись совсем больной. Она решила посмотреть «страхового агента» в деле. Шведский дядя — самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное — начать первой, посмотреть, как он поведет себя.

— Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме?

— Муж никогда не звонил туда.

Она еще не верила в то, что Эрвина больше нет. Она попросту не могла поверить в это. После

первой истерики, когда она молча билась в рыданиях, старая санитарка сказала:

— Не надо, миленькая. У меня так было с сыном. Тоже думали, что погиб, а он лежал в госпитале. А сейчас прыгает без ноги, но — дома, в армию его не взяли, значит будет жить.

Кэт захотелось сразу же, немедля переслать записку Штирлицу с просьбой узнать, что с Эрвином, но она понимала, что делать этого никак нельзя, хотя без связи со Штирлицем ей не обойтись. Поэтому она приказывала себе думать о том, как умно связаться со Штирлицем, который найдет Эрвина в госпитале, и все будет хорошо, и маленький будет гулять с Эрвином по Москве, когда все это кончится, и настанет теплое бабье лето с золотыми паутинками в воздухе, и березы будут желтые-желтые, высокие, чистые…

— Фирма, — продолжал человек, — поможет получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы — нейтралы, они богаты, и долг дяди — помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и его сердце дрогнет. Теперь вот что… Я договорился с руководством нашей компании, что мы выдадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы

вашей страховки. Но нам необходимы имена двух гарантов.

— Кого?

— Двух людей, которые бы гарантировали… простите меня, но я всего-навсего чиновник, не сердитесь, — которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно…

— Ну, кто же станет давать такую гарантию?

— Неужели у вас нет друзей?

— Таких? Нет, таких нет.

— Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвердили бы нам, что знали вашего мужа.

— Знают, — поправила Кэт.

— Он жив?!

— Да.

— Где он? Он был здесь?

Кэт отрицательно покачала головой:

— Нет. Он в каком-нибудь госпитале. Я верю, что он жив.

— Я искал.

— Во всех госпиталях?

— Да.

— И в военных тоже?

— Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь?

— Он инвалид войны… Офицер… Он был без сознания, его могли отвезти в военный госпиталь…

— Теперь я за вас спокоен, — улыбнулся человек. — У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку. Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего супруга, я к завтрашнему дню уговорю этих людей дать гарантию.

Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в висках шумело все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым металлическим и громким молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сейчас, после того как она все эти дни уходила от конкретных вопросов, было бы проигрышем. Она вспоминала дома на своей улице, особенно разрушенные. У Эрвина чинил радиолу генерал в отставке Нуш. Так. Он жил в Рансдорфе, это точно. Возле озера. Пусть спрашивает его.

— Попробуйте поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе, возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался добр к нам и сейчас.

— Фриц Нуш, — повторил человек, записывая это имя в свою книжечку, — в Рансдорфе. А улицу не помните?

— Не помню…

— В справочном столе могут не дать адреса генерала…

— Но он такой старенький. Он уже не воюет. Ему за восемьдесят.

— Голова-то у него варит?

— Что?

— Нет-нет. Просто я боюсь, у него склероз. Будь моя воля, я бы всех людей старше семидесяти насильно отстранял от работы и отправлял в специальные зоны для престарелых. От стариков все зло в этом мире.

— Ну что вы. Генерал так добр…

— Хорошо. Кто еще?

«Назвать фрау Корн? — подумала Кэт. — Наверное, опасно. Хотя мы ездили к ней отдыхать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фото. А она была бы хорошей кандидатурой — муж майор СС…»

— Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Собственный дом возле ратуши.

— Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами, фрау Кин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди найденных чемоданов два ваших. Завтра

утром я приду вместе с ним, и мы при нем и при враче вскроем эти чемоданы: может быть, вы сразу же распорядитесь ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика.

«Ясно, — подумала Кэт. — Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась наладить связь с кем-то из друзей».

— Большое спасибо, — сказала она, — Бог отплатит вам за доброту. Бог никогда не забывает добра…

— Ну что ж… Желаю вам скорейшего выздоровления, и поцелуйте от меня вашего великана.

Вызвав санитарку, человек сказал ей:

— Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немедленно звоните ко мне — домой или на работу, не важно. И в любое время. В любое, — повторил он. — А если кто-нибудь придет к ней — сообщите вот сюда, — он дал ей телефон, — эти люди в трех минутах от вас. Вы задержите посетителя под любым предлогом.

Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел, как по коридору несли чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи: в нем хранился передатчик.

Штирлиц рассеянно и не спеша пошел следом

за двумя людьми, которые, весело о чем-то переговариваясь, занесли этот чемодан в кабинет штурмбаннфюрера Рольфа.

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1940 года Рольфа, штурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – нордический, отважный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен. Отличный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС…»)

Штирлиц какое-то мгновение прикидывал: зайти в кабинет к штурмбаннфюреру сразу же или попозже. Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошел к Рольфу.

— Ты что, готовишься к эвакуации? — спросил он со смехом. Он не готовил эту фразу, она родилась в голове сама, видимо, в данной ситуации была точной.

— Нет, — ответил Рольф, — это передатчик.

— Коллекционируешь? А где хозяин?

— Хозяйка. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе госпиталя «Шарите».

— С новорожденным?

— Да. И голова у стервы помята.

— Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии?

— По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы канителимся, канителимся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото чемоданов — вкупе с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава богу, сбежать она не может: у нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка… В общем-то, черт его знает. Я решил сегодня привезти ее сюда.

— Разумно, — согласился Штирлиц. — Пост там поставили? Надо же смотреть за возможными контактами.

— Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работником.

— Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь?

— Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь, этих русских — их надо брать теплень-

кими и слабыми…

— Почему ты решил, что она русская?

— С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала.

Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери:

— Бери ее поскорей. Хотя… Может получиться красивая игра, если она начнет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их люди?

— Эту версию мы до конца не отрабатывали…

— Дарю… Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров, и желаю удачи. — Около двери Штирлиц обернулся: — Это интересное дело. Главное здесь — не переторопить. И советую: не докладывай большому начальству — они тебя заставят гнать работу.

Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся:

— Я стал склеротическим идиотом… Я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное.

Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, кто к нему заходил и зачем, он

наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил хорошее шведское снотворное. Рольф снабжал половину управления снотворным — его дядя был аптекарь.

…А сейчас, после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. Он поднялся к Шелленбергу и сказал:

— Бригаденфюрер, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и попроситься на десять дней в санаторий — иначе я сдам…

Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен. И не потому только, что решалась судьба Кэт, а следовательно, и его судьба. Он понимал, что ей предстоит здесь: новорожденному на пятом часу допроса приставляют пистолет к затылку и обещают застрелить на глазах матери, если она не заговорит. Обычная провокация папаши Мюллера: никогда еще никому из детей они не стреляли в затылок. Жалость здесь ни при чем — люди Мюллера могли вытворять вещи похуже. Просто они понимали, что после этого мать сойдет с ума и вся операция провалится. Но действовал этот метод устрашения безотказно.

Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, какие ждут его муки, скажи Кэт о нем. Все проще: он играл ярость.

Настоящий разведчик сродни актеру или писателю. Только если фальшь в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю презрительными усмешками читателей, то разведчику это обернется смертью.

— В чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами?

— По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с «хвостом» на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком, видимо работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре.

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке.

— Не надо, — сказал Штирлиц. — Ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф — для меня важнее всего дело, а не

честолюбие.

— Поезжайте, — сказал Шелленберг, — а я все-таки позвоню рейхсфюреру.

— Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится вся эта возня.

— Поезжайте, — повторил Шелленберг, — и делайте свое дело. А потом поговорим о пасторе. Он нам понадобится завтра-послезавтра.

— Я не могу разрываться между двумя делами.

— Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе. За редким исключением он разваливается после применения специальных мер головорезами Мюллера. Вам все станет ясно в первые часы. Если эта дама будет молчать — передайте ее Мюллеру, пусть они разобьют себе лоб. Если она заговорит — запишем себе в актив и утрем нос баварцу.

Так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей — шефа гестапо Мюллера.

В приемном покое Штирлиц предъявил жетон СД и прошел в палату, где лежала Кэт. Когда она увидела его, глаза ее широко раскрылись, в них сразу появились слезы, и она потянулась к Штирлицу, но он, опасаясь диктофонов, торопливо сказал:

— Фрау Кин, собирайтесь. Вы проиграли, а разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо. Нами перехвачено сорок ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы будете упорствовать.

Штирлиц дождался, пока санитарка принесла ее костюм, пальто и туфли. Кэт сказала, принимая условия его игры:

— Может быть, вы выйдете, пока я буду одеваться?

— Нет, я не выйду, — ответил Штирлиц. — Я отвернусь и буду продолжать говорить, а вы будете думать, что мне ответить.

— Я ничего не буду вам отвечать, — сказала Кэт, — мне нечего отвечать вам. Я не понимаю, что произошло, я еще очень слаба, и я думаю, это недоразумение разъяснится. Мой муж — офицер, инвалид войны.

Странную радость испытывала сейчас Кэт. Она видела своего, она верила, что теперь, как бы ни были сложны испытания, самое страшное — одиночество — позади.

— Бросьте, — перебил ее Штирлиц, — ваш передатчик у нас, радиограммы тоже у нас, они расшифрованы, это — доказательства, которые невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно — ваше согласие на совместную с нами работу. И я вам советую, — сказал он, обернувшись, всячески показывая ей глазами и лицом своим, что он говорит ей нечто очень важное, к чему надо прислушаться, — согласиться с моим предложением и, во-первых, рассказать все, что вам известно, пусть даже вам известно очень немногое, а во-вторых, принять мое предложение и начать — незамедлительно, в течение этих двух-трех дней, — начать работать на нас.

Он понимал, что о самом главном он мог говорить только в коридоре. Но понять это самое главное Кэт могла, выслушав его здесь. У него оставалось минуты две на проход по коридору, он подсчитал для себя время, поднимаясь в палату.

Санитарка принесла ребенка и сказала:

— Дитя готово…

Штирлиц внутренне сжался: и не столько потому, что маленький человечек сейчас должен будет ехать в гестапо, в тюрьму, в неизвестность, но оттого, что женщина, живой человек, тоже, вероятно, мать, сказала спокойным, ровным

голосом: «Дитя готово…»

— Вам тяжело нести ребенка, — сказала санитарка, — я отнесу его в машину.

— Не надо, — ответил Штирлиц, — ступайте. Фрау Кин понесет ребенка сама. И последите, чтобы в коридорах не было больных.

Санитарка вышла, и Штирлиц, открыв дверь, пропустил Кэт вперед. Он пошел, взяв ее под руку, помогая ей нести ребенка, и потом, заметив, как дрожат ее руки, взял ребенка сам.

— Слушай меня, девочка, — заговорил он негромко, зажав во рту сигарету, — им все известно… Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся, требуй гарантий, требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке: они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня в кабинете. Шифра ты не знаешь, и наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты — только радист. Все остальное я возьму на себя. Скажешь, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в районы Кантштрассе и в Рансдорф. Скажешь, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я покажу его фото.

Человеком из МИДа был советник Восточного управления Хайнц Корнер. Он погиб неделю

назад в автомобильной катастрофе. Это был ложный след. Отрабатывая этот след, гестапо неминуемо потеряет десять-пятнадцать дней. А сейчас и день решал многое…

Через пять часов Рольф докладывал Мюллеру, что русская радистка исчезла из клиники «Шарите». Мюллер неистовствовал. А еще через два часа к нему позвонил Шелленберг и сказал:

— Добрый вечер, дружище! Штирлиц приготовил нам подарок: он привез русскую радистку, которая дала согласие работать на нас. Рейхсфюрер уже поздравил его с этой удачей.

Сидя у Шелленберга, слушая его веселую болтовню с Мюллером, Штирлиц в сотый раз спрашивал себя: вправе ли был он привозить сюда, в тюрьму, своего боевого товарища Катеньку Козлову, Кэт Кин, Ингу, Анабель. Да, он мог бы, конечно, посадить ее в машину, показав свой жетон, и увезти в Бабельсберг, а после найти ей квартиру и снабдить новыми документами. Это значило бы, что, спасая жизнь Кэт, он заранее шел на провал операции — той, которая была запланирована Центром, той, которая была так важна для сотен тысяч русских солдат, той, которая могла в ту или иную сторону повлиять на будущее Европы. Он понимал, что после

похищения Кэт из госпиталя все гестапо будет поднято на ноги. Он понимал также, что, если побег удастся, след непременно поведет к нему: значок секретной полиции, машина, внешние приметы. Значит, ему тоже пришлось бы уйти на нелегальное положение. Это было равнозначно провалу. Штирлиц понимал, что дело идет к концу, и поэтому палачи Мюллера будут зверствовать и уничтожать всех, кто был у них в застенках. Поэтому он сказал Кэт, чтобы она сначала поставила условие: ее ничто больше не связывает с Россией, муж погиб, и она теперь ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки своего бывшего «шефа». Это был запасной вариант, на случай, если Кэт все равно передали бы гестапо. Если бы Кэт осталась у него, он бы так не тревожился, поселил бы ее на конспиративной «радиоквартире» под охраной СС, а в нужный момент устроил бы так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла и никто не смог бы ее найти. Хотя это чертовски сложно. Сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно: каждый второй человек давал информацию на соседа, а этот сосед, в свою оче-

редь, давал информацию на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой СС и СД.

Мюллер три часа работал над первым допросом русской. Он сличал запись, которую представил Штирлиц, с лентой магнитофона, вмонтированного в штепсель возле стола штандартенфюрера СС фон Штирлица.

Ответы русской сходились полностью. Вопросы штандартенфюрера были записаны скорописью и разнились от того, что он говорил русской радистке.

— Он лихо работает все-таки, этот Штирлиц, — сказал Мюллер Рольфу. — Вот послушайте-ка…

И, отмотав пленку, Мюллер включил голос Штирлица:

— Я не стану повторять той азбучной истины, что в Москве этот арест будет для вас приговором. Человек, попавший в гестапо, обязан погибнуть. Вышедший из гестапо — предатель, и только предатель. Не так ли? Это первое. Я не стану просить у вас имен оставшихся на свободе агентов — это не суть важно: стараясь отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это — второе. Третье: вы понимаете, что, как человек и как

офицер рейха, я не могу относиться к вашему положению без сострадания — я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы будем вынуждены отдать ваше дитя в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно: я вам не угрожаю, просто, даже если бы я и не хотел этого делать, надо мной есть руководство, а приказы всегда значительно легче отдавать тем, кто не видел ваше дитя у вас на руках. А я не могу не выполнить приказ: я солдат, и моя родина воюет с вашей страной. И наконец, четвертое. Мы в свое время получили копии ваших кинофильмов, снятых в Алма-Ате московской киностудией. Вы изображаете немцев дураками, а нашу организацию — сумасшедшим домом. Смешно, это ведь мы стояли у ворот Кремля…

Мюллер, естественно, не мог видеть, как именно в этом месте Штирлиц подмигнул Кэт, и она, сразу же поняв его, ответила:

— Да, но сейчас части Красной армии стоят у ворот Берлина.

— Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро мы вернемся к Кремлю. Но — в сторону дискуссию. Я начал говорить вам об этом, потому что наши дешиф-

ровальщики отнюдь не глупые люди, и они уже многое открыли в вашем шифре, и вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек…

Штирлиц снова подмигнул Кэт. Она ответила:

— Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в Центре.

— Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения, мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией. Вам не будет прощения на родине — вы это знаете так же точно, как я, а может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством, — продолжал он.

— Это невозможно, — ответила Кэт.

— Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке…

— У меня мальчик.

— Простите. Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль.

— Я не знаю пароля.

— Вы знаете пароль, — настойчиво повторил Штирлиц, — пароль вы знаете, но я не прошу его у вас, это мелочи и игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру, и он передавал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в Центр. Это — алиби. В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумье. Я вам времени не даю, я спрашиваю сразу: да или нет?

Молчание…

…Мюллер посмотрел на Рольфа и заметил:

— Только один прокол: он спутал пол ребенка. Он назвал дитя девочкой, а в остальном — виртуозная работа.

— Да, — тихо ответила Кэт, скорее даже прошептала.

— Не слышу, — сказал Штирлиц.

— Да, — повторила Кэт. — Да! Да! Да!

— Вот теперь хорошо, — сказал Штирлиц. — И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас.

— Но у меня есть одно условие, — сказала Кэт.

— Да, я слушаю.

— С родиной у меня оборвалась вся связь после

гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей…

Сейчас, когда жизнь Кэт висела на волоске, а атака на Бормана по каким-то непонятным причинам сорвалась, Штирлицу был совершенно необходим контакт с Москвой. Он рассчитывал получить помощь: одно-два имени, адреса нескольких людей, пусть ни прямо, ни косвенно не связанных с Борманом, но связанных каким-то образом с племянницей двоюродного брата, женатого на сестре деверя его повара…

Штирлиц улыбнулся: это родство показалось ему занятным.

Ждать, когда из Центра пришлют радиста, придется не меньше недели-двух. А сейчас нельзя ждать: судя по всему, дело решают дни, в крайнем случае недели.

Штирлиц рассуждал: отчего Борман не пришел на встречу? Во-первых, он мог не получить письма. Письмо успели перехватить люди Гиммлера, хотя вряд ли. Штирлиц сумел отправить письмо с корреспонденцией, предназначенной лично Борману, и похитить оттуда письмо — дело чересчур рискованное, поскольку он вложил письмо

уже после проверки всей почты сотрудником секретного отдела секретариата рейхсфюрера. Во-вторых, анализируя отправленное письмо, Штирлиц отметил для себя несколько существенных своих ошибок. Ему нередко помогала профессиональная привычка — наново анализировать поступок, беседу, письмо и, не досадуя на возможные ошибки, искать — сразу же, не пряча голову под крыло — «авось повезет», — выход из положения. Лично ему отправленное письмо ничем не грозило: он напечатал его на машинке в экспедиции во время налета. Просто, думал он, для человека масштаба Бормана в письме было слишком много верноподданнических эмоций и мало фактов и конструктивных предложений, вытекающих отсюда. Громадная ответственность за принимаемые решения, практически бесконтрольные, обязывает государственного человека типа Бормана лишь тогда идти на беседу с подчиненным, когда факты, сообщенные им, были ранее никому не известны и перспективны с государственной точки зрения. Но с другой стороны, продолжал рассуждать Штирлиц, Борману были важны даже мельчайшие крупицы материалов, которые могли бы скомпрометировать Гиммлера. (Штирлиц понимал, отчего *началась*

эта борьба между Гиммлером и Борманом. Он не мог найти ответа, отчего она *продолжается* сейчас с такой все нарастающей яростью.) И наконец, в-третьих, Штирлиц отдавал себе отчет в том, что Борман был просто-напросто занят и поэтому не смог прийти на встречу. Впрочем, Штирлиц знал, что Борман только два или три раза откликался на подобного рода просьбы о встрече. А с просьбами о приеме к нему ежедневно обращалось по меньшей мере два или три десятка человек из высшей иерархической группы партийного и военного аппарата.

«Это было наивно от начала до конца, — решил Штирлиц. — Я играл не только вслепую. Я играл не по его правилам».

Завыла сирена тревоги. Штирлиц посмотрел на часы: десять часов вечера. Закат был сегодня кроваво-красным, с синевой. Значит, ночью будет мороз. «И побьет мои розы, — подумал Штирлиц, поднимаясь, — верно, я рановато их высадил. Но кто мог подумать, что морозы продержатся так долго».

Бомбили совсем рядом. Штирлиц вышел из кабинета и пошел по пустому коридору к той лестнице, которая вела в бункер. Возле двери в дублирующий пункт прямой связи — основной

теперь был в бункере — он задержался. В двери торчал ключ.

Штирлиц нахмурился, неторопливо огляделся: коридор был пуст — все ушли в бункер. Он толкнул дверь плечом. Дверь не открылась. Он отпер дверь. Два больших белых телефона выделялись среди всех остальных: это была прямая связь с бункером фюрера и с кабинетами Бормана, Геббельса, Шпеера и Кейтеля.

Штирлиц выглянул в коридор: там по-прежнему никого не было. Стекла дрожали — бомбили теперь совсем рядом. Мгновение он думал, стоит запереть дверь или нет. Потом подошел к аппарату и набрал номер 12-00-54.

— Борман, — услышал он в трубке низкий, сильный голос.

— Вы получили мое письмо? — спросил Штирлиц, изменив голос.

— Кто это?

— Вы должны были получить письмо — лично для вас. От преданного члена партии.

— Да. Здравствуйте. Где вы? Ах да. Ясно. Номер моей машины…

— Я знаю, — перебил его Штирлиц. — Кто будет за рулем?

— Это имеет значение?

— Да. Один из ваших шоферов…

— Я знаю, — перебил его Борман.

Они понимали друг друга: Борман — что Штирлиц знает о том, как прослушиваются его разговоры (это свидетельствовало о том, что человек, говоривший с ним, знал высшие секреты рейха); Штирлиц, в свою очередь, сделал вывод, что Борман понимает то, что он ему недоговаривал (один из его шоферов был секретным сотрудником гестапо), и поэтому он почувствовал удачу.

— Там, где мы должны были с вами увидеться, вас будут ждать. Во время, указанное вами, — завтра.

— Сейчас, — сказал Штирлиц. — Через полчаса.

8.3.1945 (22 часа 32 минуты)

Через полчаса возле Музея природоведения Штирлиц увидел бронированный «майбах». Он прошел мимо машины, убедившись, что за ним нет «хвоста». На заднем сиденье он увидел Бормана. Штирлиц вернулся и, открыв дверцу, сказал:

— Партайгеноссе Борман, я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали…

Борман молча пожал ему руку.

— Поехали, — сказал он шоферу, — к Ванзее.

Потом он отделил стеклом салон от шофера.

— Где я вас видел? — спросил он, присматриваясь к Штирлицу. — Ну-ка, снимите ваш камуфляж…

Штирлиц положил очки на колени и приподнял шляпу.

— Я где-то определенно вас видел, — повторил Борман.

— Верно, — ответил Штирлиц. — Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона.

— Сейчас у вас как раз лицо шпиона, а не профессора, — пошутил Борман. — Ну, что случилось, рассказывайте.

…Аппарат, связывавший Бормана с имперским управлением безопасности, молчал всю ночь. Поэтому, когда наутро данные прослушивания легли на стол Гиммлера, он, рассвирепев поначалу, а после, когда гнев остыл, испугавшись, вызвал Мюллера и приказал ему выяснить — только осторожно: кто разговаривал из спецкомнаты правительственной связи сегодня ночью со штаб-квартирой НСДАП, с Борманом.

Никаких определенных данных Мюллеру в течение дня получить не удалось. Под вечер ему на стол положили отпечатки пальцев,

оставленные на трубке телефона незнакомцем, звонившим Борману. Поразило его то, что, по данным картотеки, такие же отпечатки пальцев уже появились несколько дней тому назад в гестапо и были они обнаружены на передатчике, принадлежавшем русской радистке.

Шофер Бормана, в свое время отказавшийся — с санкции Бормана — стать осведомителем СС, был арестован, когда возвращался домой после дежурства. Три часа он молчал и требовал разговора с Борманом. После того как к нему применили допрос с устрашением, он признался, что ночью к ним в машину сел неизвестный. О чем он говорил с Борманом, шофер сказать не мог, поскольку беседа проходила в салоне, отделенном от него толстым пуленепробиваемым стеклом. Он дал словесный портрет того, кто сел в машину. Он говорил, что это был человек в шляпе, низко надвинутой на лоб, в очках с толстой роговой оправой и с седыми усами. Ему было предложено посмотреть более двух сотен фотографий. Среди этих фотографий было фото Штирлица. Но, во-первых, Штирлиц был без усов, которые легко приклеивались и так же легко снимались в случае необходимости, а во-вторых, фотографии были пятилетней давности, а за пять

военных лет люди имеют обыкновение сильно меняться — порой до неузнаваемости.

Гиммлер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата.

Мюллер также предложил организовать ликвидацию шофера Бормана таким образом, чтобы создалось впечатление случайной гибели в результате наезда автомобиля на улице, возле его дома. Поначалу Гиммлер хотел было санкционировать это мероприятие, очевидно необходимое, но потом остановил себя. Он переставал верить всем — Мюллеру в том числе.

— Это вы сами продумайте, — сказал он. — Может быть, следовало бы его отпустить вовсе? — отыграл он в сторону, понимая, что ему ответит Мюллер.

— Это невозможно, с ним много работали.

Именно такого ответа и ждал рейхсфюрер.

— Ну, я не знаю, — поморщился он. — Шофер — честный человек, а мы не наказываем честных людей… Придумайте что-нибудь сами…

Мюллер вышел от Гиммлера в гневе: он понял, что рейхсфюрер боится Бормана и подставляет под удар его, Мюллера. Нет, решил он, тогда я

тоже поиграю. Пусть шофер живет. Это будет мой козырь.

После беседы с Мюллером Гиммлер вызвал Отто Скорцени.

Он понял, что схватка с Борманом вступает в последнюю, решающую стадию. И если с помощью какого-то неизвестного изменника из СС Борман получит компрометирующие материалы на него, Гиммлера, то противопоставить этому частному факту он обязан сокрушающий удар. В политике ничто так не уравнивает шансы противников, как осведомленность и сила. И нигде не собрано такое количество информации, как в бронированных сейфах партийных архивов. Пусть Борман оперирует с человеком. Он, Гиммлер, будет оперировать с бумагами: они и надежнее людей, и — по прошествии времени — страшнее их…

— Мне нужен архив Бормана, — сказал он. — Вы понимаете, Скорцени, что мне нужно?

— Я понимаю.

— Это труднее, чем выкрасть дуче.

— Я думаю.

— Но это возможно?

— Не знаю.

— Скорцени, такой ответ меня не удовлетво-

ряет. Борман на этих днях начинает эвакуацию архива: куда и под чьей охраной — это вам предстоит выяснить. Шелленберг поможет вам — негласно, в порядке общей консультации.

10.3.1945 (19 часов 58 минут)

Штирлиц выехал ночным экспрессом на швейцарскую границу для того, чтобы «подготовить окно». Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку — вся эта операция осуществлялась в обход гестапо. А «разоблачение» Шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено, по замыслу Шелленберга, именно Штирлицем.

Все эти дни Штирлиц с санкции Шелленберга готовил для пастора «кандидатов» в заговорщики: людей из Министерства иностранных дел и из штаба люфтваффе. Там, в этих учреждениях, Штирлиц нашел людей, особо ревностно служивших нацизму. Шелленбергу особенно понравилось, что все эти люди были в свое время завербованы гестапо как осведомители.

— Это хорошо, — сказал он, — это очень элегантно.

Штирлиц вопросительно посмотрел на него.

— В том смысле, — пояснил Шелленберг, — что мы таким образом скомпрометируем на Западе всех тех, кто будет искать мирных контактов помимо нас. Там ведь четко отграничивают гестапо от нашего департамента.

В этом ночном экспрессе, который отличался от всех остальных поездов довоенным комфортом: в маленьких купе поскрипывали настоящие кожаные ремни, тускло блестели медные пепельницы, проводники разносили крепкий кофе, — в этом поезде по коридору Скандинавия–Швейцария практически ездили теперь лишь одни дипломаты.

Штирлиц занимал место № 74. Место № 56 в следующем вагоне занимал синюшно-бледный профессор из Швеции с длинной неуклюжей скандинавской фамилией. Они да еще один генерал, возвращавшийся после ранения на итальянский фронт, были единственными пассажирами в двух международных вагонах.

Генерал заглянул в купе Штирлица и спросил его:

— Вы немец?

— Увы, — ответил Штирлиц.

Он имел возможность шутить, ему это было разрешено руководством. Провокация предпо-

лагает возможность зло шутить. В случае если собеседник не пойдет в гестапо с доносом, можно думать о перспективе в работе с этим человеком. В свое время этот вопрос дискутировался в гестапо: пресекать недостойные разговоры на месте или давать им выход? Считая, что даже малый вред рейху — существенная польза для его родины, Штирлиц всячески поддерживал тех, кто стоял на точке зрения поощрения провокаций.

— Почему «увы»? — поинтересовался генерал.

— Потому, что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе они дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт.

— Да? А мне дали второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить?

— Спасибо. У меня тоже есть коньяк.

— Зато, вероятно, у вас нет сала.

— У меня есть сало.

— Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки, — сказал генерал, наблюдая за тем, что доставал Штирлиц из портфеля. — В каком вы звании?

— Я дипломат. Советник третьего управления МИДа.

— Будьте вы прокляты! — сказал генерал, присаживаясь на кресло, вмонтированное за вы-

ступом маленького умывальника. — Во всем виноваты именно вы.

— Почему?

— Потому, что вы определяете внешнюю политику, потому, что вы довели дело до войны на два фронта. Прозт!

— Прозит! Вы мекленбуржец?

— Да. Как вы узнали?

— По «прозт». Все северяне экономят на гласных.

Генерал засмеялся.

— Это верно, — сказал он. — Слушайте, а я не мог вас видеть вчера в Министерстве авиации?

Штирлиц поджался: он вчера подвозил к Министерству авиации пастора Шлага — «налаживать» связи с людьми, близкими к окружению Геринга. В случае успеха всей операции, когда к делу подключат гестапо — но уже по просьбе Шелленберга, для выяснения деталей «заговора», — надо было, чтобы пастор «оставил следы»: и в Министерстве авиации, и в люфтваффе, и в Министерстве иностранных дел.

«Нет, — подумал Штирлиц, наливая коньяк, — этот генерал меня не мог видеть; мимо меня, когда я сидел в машине, никто не проходил.

И вряд ли Мюллер станет подставлять под меня генерала — это не в его привычках, он работает проще».

— Я там не был, — ответил он. — Странное свойство моей физиономии: всем кажется, что меня где-то только что видели.

— А вы стереотипны, — ответил генерал. — Похожи на многих других.

— Это хорошо или плохо?

— Для шпиков, наверное, хорошо, а для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица.

— А военным?

— Военным сейчас надо иметь сильные ноги. Чтобы вовремя сбежать.

— Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком?

— Так вы не знаете моего имени…

— Это очень легко установить, поскольку у вас запоминающееся лицо.

— Да? Черт, мне всегда оно казалось самым стандартным. Все равно, пока вы напишете на меня донос, пока они найдут второго свидетеля, пройдет время — все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую голову вас, дипломатов.

— Вы жгли, вы уничтожали, вы убивали, а судить нас?

— Мы выполняли приказ. Жгли СС. Мы — воевали.

— А что, изобрели особый способ воевать — не сжигая и без жертв?

— Война так или иначе необходима. Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что воевать можно по наитию. Он один знает, что нам всем надо. Он один любит великую Германию, а мы все только и думаем, как бы ее предать большевикам и американцам.

— Прозит…

— Прозт! Государства — как люди. Им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение — это аксиома. Движение — это война. Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат — всех до единого.

— Мы выполняли приказ. Мы — такие же солдаты, как вы… Солдаты фюрера.

— Бросьте вы притворяться. «Солдаты фюрера», — передразнил он Штирлица. — Младший чин, выкравший генеральские сапоги.

— Мне страшно говорить с вами, генерал…

— Не лгите. Сейчас вся Германия говорит как я… Или думает, во всяком случае.

— А мальчики из гитлерюгенда? Когда они идут на русские танки, они думают так же? Они умирают со словами: «Хайль Гитлер…»

— Фанатизм никогда не даст окончательной победы. Фанатики могут победить — на первых порах. Они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Прозт!

— Прозит… Тогда отчего же вы не поднимете свою дивизию?

— Корпус…

— Тем более. Почему же тогда вы не сдадитесь в плен вместе со своим корпусом?

— А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников?!

— Вы можете приказать.

— Приказывают умирать. Нет еще таких приказов — жить, сдаваясь врагу. Не научились писать.

— А если вы получите такой приказ?

— От кого? От этого неврастеника? Он тянет всех нас за собой в могилу.

— А если приказ придет от Кейтеля?

— У него вместо головы задница. Он секретарь, а не военный.

— Ну хорошо… Ваш главнокомандующий

в Италии…

— Кессельринг?

— Да.

— Он такого приказа не издаст.

— Почему?

— Он воспитывался в штабе у Геринга. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает, и аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения. Прежде чем решиться на такой шаг, он обязательно полетит к борову.

— К кому?

— К борову, — повторил генерал упрямо. — К Герингу.

— Вы убеждены, что Кессельринга нельзя уговорить пойти на такой шаг без санкции Геринга?

— Если б не был убежден — не говорил бы.

— Вы не верите в перспективу?

— Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас, скопом… Это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша окажется такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца многих поколений несчастных немцев…

На пограничной станции Штирлиц вышел

из вагона. Генерал, проходя мимо него, опустил глаза и вскинул руку в партийном приветствии.

— Хайль Гитлер! — сказал он громко.

— Хайль Гитлер, — ответил Штирлиц. — Желаю вам счастливо разбить своих врагов.

Генерал посмотрел на Штирлица испуганно: видимо, он вчера был сильно пьян.

— Спасибо, — ответил он так же громко, вероятно рассчитывая, что его слышит проводник. — Мы им сломим голову.

— Я не сомневаюсь, — ответил Штирлиц и медленно пошел по перрону.

В двух вагонах остался один только профессор-швед, ехавший за границу, в тишину и спокойствие свободной нейтральной Швейцарии. Штирлиц прогуливался по перрону до тех пор, пока не кончилась пограничная и таможенная проверка. А потом поезд медленно тронулся, и Штирлиц проводил долгим взглядом шведского профессора, прилепившегося к окну…

Этим шведом был профессор Плейшнер. Он ехал в Берн с зашифрованным донесением для Москвы: о проделанной работе, о задании Шелленберга, о контакте с Борманом и о провале Кэт. В этом донесении Штирлиц просил прислать связь и оговаривал, когда, где и как он на эту

связь сможет выйти. Штирлиц попросил также Плейшнера выучить наизусть дублирующую телеграмму в Стокгольм. Текст был безобиден, но люди, которым это сообщение было адресовано, должны были немедленно передать его в Москву, в Центр. Получив текст, в Центре могли прочесть:

«Гиммлер через Вольфа начал в Берне переговоры с Даллесом. *ЮСТАС*».

Штирлиц вздохнул облегченно, когда поезд ушел, и отправился в местное отделение погранслужбы — за машиной, чтобы ехать на дальнюю горную заставу: вскоре там должен будет «нелегально» проникнуть в Швейцарию пастор Шлаг.

Информация к размышлению (Даллес)

Агент Шелленберга, работавшая у Даллеса, сообщала: к ее «хозяину-подопечному» пришел кюре Норелли из представительства Ватикана в Швейцарии. Между двумя этими умными людьми состоялась беседа, которую удалось записать почти дословно.

— Мир проклянет Гитлера, — говорил Даллес, попыхивая трубкой, — не столько за печи Майданека и Аушвица и не столько за негибкую политику антисемитизма… Никогда за всю историю, даже в великолепный и демократичный пореформенный период, Россия не делала такого рывка вперед, как за эти годы войны. Они освоили огромные мощности на Урале и в Сибири. Гитлер бросил Россию и Америку в объятия друг другу. Русские восстановят на средства немецких репараций — Сталин рассчитывает получить с Германии двадцать миллиардов долларов — разрушенную промышленность западных районов и таким образом удвоят мощь своего индустриального потенциала. Россия

выйдет на первое место в Европе по мощи и наступательной силе.

— Значит, — спросил кюре, — выхода нет? Значит, через пять-шесть лет большевики заставят меня служить мессу в честь его святейшества Сталина?

— Как вам сказать… В общем-то, могут, конечно. Если мы будем вести себя как агнцы — заставят. Нам нужно делать ставку на развитие национализма в России, тогда, может быть, они рассыплются… Здесь только нельзя глупить. Если раньше Сталин имел металлургию на Украине и совсем немного — на востоке, если раньше Украина кормила пшеницей страну, то теперь все изменилось. В подоплеке национализма всегда лежат интересы тех или иных групп населения, связанных с делом, или, используя марксистскую фразеологию, — с производством. Когда я сам произвожу что-то, я чувствую себя по-одному. Но когда появляется конкурент, я себя чувствую по-иному. В условиях нашей системы конкуренция живительна. В условиях системы Сталина конкуренция лишь травмирует людей. Посылать в будущую Россию диверсантов, которые бы взрывали заводы, — смешная затея. А вот если наша пропаганда точно и аргументированно

докажет национальностям России, что каждая из них может существовать, разговаривая только на своем языке, — это будет наша победа, и противопоставить этой победе русские не смогут ничего.

— Мои друзья в Ватикане считают, что русские за годы войны научились маневренности — и в действиях, и в мышлении.

— Видите ли, — ответил Даллес, набив трубку, — я сейчас перечитываю русских писателей: Пушкина, Салтыкова, Достоевского… Я проклинаю себя за то, что не знаю их языка, — русская литература, пожалуй, самая поразительная: я имею в виду их литературу девятнадцатого века. Я вывел для себя, что русскому характеру свойственно чаще оглядываться на идеальные примеры прошлого, чем рисковать в построении модели будущего. Я представляю себе, что они решат сделать ставку на аграрный класс России, уповая на то, что земля «все исцеляет» и все единит. Тогда они войдут в конфликт со временем, а выхода из этого конфликта нет. Уровень развития техники не позволит этого.

— Это интересно, — сказал кюре. — Но я опасаюсь, что вы ставите себя в ваших умопостроениях над ними, а не рядом с ними…

— Вы призываете меня вступить в ряды ВКП(б)? — улыбнулся Даллес. — Они меня не примут…

11.3.1945 (16 часов 03 минуты)

На пограничной заставе Штирлиц быстро решил все вопросы: обер-лейтенант оказался покладистым, славным парнем, сначала Штирлиц даже подивился такой покладистости: пограничники славились чрезмерным гонором, словно бурши прошлого века. Но, поразмыслив, Штирлиц понял, в чем тут дело: жизнь в горах, на границе с нейтральной Швейцарией, в каком-то особом лунно-снежном мире, вдали от бомбежек, разрухи и голода, заставляла и обер-лейтенанта, командовавшего зоной, и всех остальных местных начальников угождать каждому, приехавшему из центра. Манера поведения пограничников, их угодливость и непомерная суетливость привели Штирлица к важному выводу: граница перестала быть непроходимой.

Было бы идеально, думал он, связаться прямо отсюда с Шелленбергом и попросить его дать указание кому-то из верных сотрудников разведки доставить пастора прямо сюда, на заставу. Но он понимал, что любой звонок в Берлин будет

зафиксирован ведомством Мюллера, а провал Шелленберга и той миссии, которую он возлагал на пастора, должны были стать козырной картой именно его, Штирлица, когда он будет докладывать об этом Борману — с фотографиями, данными магнитофонных записей, с адресами, явками и рапортом пастора, чтобы скомпрометировать те переговоры, не фиктивные, а настоящие, которые должен был вести в Швейцарии генерал Карл Вольф.

Договорившись о месте, в котором он переведет через границу пастора, — это было ущелье, поросшее хвойным молодым тесом, — Штирлиц еще раз расспросил о том, как называется маленький отель в Швейцарии, видный отсюда, с границы; он узнал, как зовут хозяина отеля и сколько времени придется ждать такси из города; он выяснил, где находится ближайший отель на равнине, — по легенде, пастор шел на лыжах с равнины в горы и заблудился в ущельях. В Берне и Цюрихе у пастора были друзья. Открытка, которую пастор должен отправить, с видом набережной Лозанны, значила бы, что предварительные разговоры закончены, связь налажена, можно приезжать для серьезных бесед. Поначалу Шелленберг возражал против этого

плана Штирлица.

— Слишком просто, — говорил он, — слишком все облегченно.

— Он не сможет вести себя иначе, — ответил Штирлиц. — Для него лучшая ложь — это абсолютная правда. Иначе он запутается и им займется полиция.

(К себе в Бабельсберг Штирлиц вернулся поздно. Он отпер дверь, потянулся к выключателю, но услыхал голос, очень знакомый и тихий.

— Не надо включать свет.

«Холтофф, — понял Штирлиц. — Как он попал сюда? Что-то случилось, и, видимо, очень важное...»)

Отправив телеграмму в Стокгольм, профессор Плейшнер снял номер в маленьком отеле в Берне, принял ванну, потом спустился в ресторан и долго недоумевающе рассматривал меню. Он переводил взгляд со слова «ветчина» — на цену, с «омары» — на цену, он изучал эту вощеную, отдающую синевой бумагу, а после, неожиданно для самого себя засмеявшись, сказал:

— Гитлер — сволочь!

Он был в ресторане один, на кухне повар гремел кастрюлями, пахло топленым молоком и свежим хлебом. Плейшнер повторил — теперь

уже громче:

— Гитлер — дерьмо!

Видимо, кто-то услышал его: появился молодой розовощекий официант. Он подплыл к профессору, сияя улыбкой:

— Добрый день, мсье.

— Гитлер — собака! — закричал Плейшнер. — Собака! Сволочь! Скотина!

Он ничего не мог с собой поделать — началась истерика.

Поначалу официант пытался улыбаться, считая это шуткой, а потом побежал на кухню, и оттуда выглянул повар.

— Позвонить в больницу? — спросил официант.

— Ты сошел с ума, — ответил повар, — к нам в ресторан приедет карета «скорой помощи»! Сразу же распустят слух, что у нас отравили человека.

Через час Плейшнер выписался из этого отеля и переехал в частный пансион на берегу озера. Он понял, что оставаться там после этой дурацкой истерики глупо.

Истерика сначала очень испугала его. А потом он почувствовал облегчение. Он ходил по улицам, то и дело оглядываясь: боялся, что сейчас

у него за спиной заскрипят тормоза, его схватят под руки молчаливые молодчики, увезут в подвал и там станут бить за то, что он посмел оскорбить великого фюрера. Но он шел по улице, и никому до него не было дела. В киоске он накупил английских и французских газет, на первых полосах были карикатуры на Гитлера и Геринга. Он тихонько засмеялся и сразу же испугался, что снова начнется истерика.

— Бог мой, — вдруг сказал он. — Неужели все позади?

Он шел на конспиративную квартиру, адрес которой ему дал Штирлиц, по пустынной улице. Оглянувшись несколько раз, профессор вдруг — и снова неожиданно для себя — стал кружиться в вальсе. Он напевал себе под нос какой-то старинный вальс и упоенно кружился, по-старомодному пришаркивая мыском туфель и делая такие пробеги, которые — он это помнил — делали эстрадные танцоры в начале века.

Дверь ему открыл высокий плотный мужчина.

— Отто просил передать, — сказал профессор слова пароля, — что вчера вечером он ждал вашего звонка.

— Заходите, — сказал мужчина, и Плейшнер зашел в квартиру, хотя он не имел права этого

делать, не дождавшись отзыва: «Странно, я был дома, но, видимо, он перепутал номер».

Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку: явочная квартира советского разведчика была провалена фашистами, и сейчас здесь ждали «гостей». Первым гостем оказался связник Штирлица — профессор Плейшнер.

— Ну? — спросил высокий мужчина, когда они вошли в комнату. — Как он там?

— Вот, — сказал Плейшнер, протягивая ему крохотную ампулу, — тут все сказано.

Это его спасло: немцы не знали ни пароля, ни тех возможных людей, которые должны были бы прийти на связь. Поэтому было принято решение: если связник не войдет без отзыва, его надо схватить и, усыпив, вывезти в Германию. Если же он войдет в контакт, установить за ним наблюдение и, таким образом, выйти на главного резидента.

Высокий человек ушел в соседнюю комнату. Там он вскрыл ампулу и разложил на столе листочек папиросной бумаги. Цифры слагались в донесение. Такие же цифры находились сейчас в центре дешифровки в Берлине: именно этим шифром передавались донесения русской

радисткой, которая дала согласие работать на Гиммлера.

Высокий мужчина протянул донесение своему помощнику и сказал:

— Срочно в посольство. Передай нашим, чтобы организовали наблюдение за этим типом. Я задержу его и постараюсь с ним поговорить: он дилетант, его, видимо, используют, я его расшевелю…

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1944 года Барбары Беккер, унтершарфюрера СС (VI отдел РСХА):

«Истинная арийка. Характер – нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе ровна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадна к врагам рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена…»)

Кэт ходила по комнате, укачивая сына. В отсутствие Штирлица, как он и говорил, ее перевели на конспиративную квартиру гестапо, где оборудовали небольшую, но мощную радиостанцию. Кэт смотрела на лицо спящего мальчика и думала: «Всему в жизни надо учиться: и как готовить

яичницу, и где искать книгу в каталоге, математике надо учиться тем более. А вот материнству учиться не надо…»

— Мы зовем людей к естественности, — сказала ей как-то охранница, фрейлейн Барбара. Она была совсем еще молода и любила поболтать перед ужином.

Солдат СС Гельмут, живший в соседней комнате, сервировал стол на троих, чтобы отпраздновать двадцатилетие воспитанницы гитлерюгенда. Во время этого торжественного ужина, с картофелем и гуляшом, Барбара сказала, что, после того как Германия выиграет войну, женщины наконец смогут заняться своим делом — уйти из армии и с производства и начать строить большие германские семьи.

— Рожать и кормить — вот задача женщины, — говорила Барбара, — все остальное — химера. Люди должны стать здоровыми и сильными. Нет ничего чище животных инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто.

— Это как? — хмуро поинтересовался Гельмут, только-только откомандированный с фронта после сильнейшей контузии. — Сегодня со мной, завтра с другим, а послезавтра с третьим?

— Это гнусность, — ответила Барбара, брезгли-

во поморщившись. — Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, с главой дома, я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был и вторым, и третьим, и четвертым? Надо освободить себя от стыдливости — это тоже химера… Вы, вероятно, не согласны со мной? — спросила она, обернувшись к Кэт.

— Не согласна.

— Желание произвести лучшее впечатление — тоже уловка женщины, древняя как мир. Уж не кажется ли вам, что наш добрый Гельмут предпочтет вас — мне? — засмеялась Барбара. — Он боится славян, и потом, я — моложе…

— Я ненавижу женщин, — глухо сказал Гельмут. — «Исчадие ада» — это про вас.

— Почему? — спросила Барбара и озорно подмигнула Кэт. — За что вы нас ненавидите?

— Вот за то самое, что вы тут проповедовали. Женщина хуже злодея. Тот хоть не обманывает: злодей, он сразу злодей. А тут сначала такую патоку разольют, что глаза слипаются, а после заберут в кулак и вертят как хотят, а при этом еще спят с твоим ближайшим другом.

— Вам жена наставила рога! — Барбара даже захлопала в ладоши. Кэт отметила для себя, что у нее очень красивые руки: мягкие, нежные,

с детскими ямочками и аккуратно отполированными розовыми ногтями.

Эсэсовец тяжело посмотрел на Барбару и ничего не ответил: он подчинялся ей, он был рядовым солдатом, а она унтершарфюрером.

— Простите, — сказала Кэт, поднимаясь из-за стола, — я могу уйти к себе?

— А что случилось? — спросила Барбара. — Сегодня не бомбят, работать вы еще не начали, можно и посидеть чуть дольше обычного.

— Я боюсь, проснется маленький. Может быть, вы позволите мне спать с ним? — спросила Кэт. — Мне жаль господина, — она кивнула головой на Гельмута, — он, наверное, не высыпается с маленьким.

— Он тихий, — сказал Гельмут, — спокойный парень. И совсем не плачет.

— Это запрещено, — сказала Барбара. — Вам полагается жить в разных помещениях с ребенком.

— Я не убегу, — попробовала улыбнуться Кэт. — Обещаю вам.

— Отсюда невозможно убежать, — ответила Барбара. — Нас двое, да и запоры надежные. Нет, я очень сожалею, но есть приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом.

— А кто мой шеф?

— Штандартенфюрер Штирлиц. Он может нарушить указание начальства — в случае, если вы преуспеете в работе. У одних стимул — деньги, у других — мужчины, у вас самый верный стимул к хорошей работе — ваше дитя. Не так ли?

— Да, — ответила Кэт. — Вы правы.

— Между прочим, вы до сих пор не дали ребенку имя, — сказала Барбара, отрезая от картофелины маленький ломтик. Кэт заметила, что девушка ест, словно на дипломатическом приеме — ее движения были полны изящества, и картофель, испорченный червоточинами, казался каким-то диковинным экзотическим фруктом.

— Я назову его Владимиром…

— В честь кого? Ваш отец был Владимиром? Или его отец? Как его, кстати, звали?

— Кого?

— Вашего мужа.

— Эрвин.

— Я знаю, что Эрвин. Нет, я спрашиваю его настоящее имя, русское…

— Я знала его как Эрвина.

— Он даже вам не называл своего имени?

— По-моему, — улыбнулась Кэт, — ваши разведчики так же, как и все разведчики мира, знают друг друга по псевдонимам. То, что я Катя, а не

Кэт, знал мой шеф в Москве и, вероятно, знали те люди, которые были связаны с Эрвином, его здешние руководители.

— Владимиром, мне кажется, звали Ленина, — помолчав, сказала Барбара. — И благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц: он у нас славится либерализмом и логикой…

«Рейхсфюреру СС Строго секретно.

Генриху Гиммлеру Только для личной передачи.

В одном экземпляре.

Рейхсфюрер!

Вчера ночью я приступил к практическому осуществлению операции „Истина“. Этому предшествовало предварительное ознакомление с ландшафтом, дорогами, с рельефом местности. Я считал, что неосмотрительно наводить более подробные справки о шоферах, которые будут перевозить архив рейхсляйтера Бормана, или о предполагаемом маршруте. Это может вызвать известную настороженность охраны.

Я задумал проведение акции по возможности бесшумно, однако события

вчерашней ночи не позволили мне осуществить «бесшумный» вариант. После того как мои люди, одетые в штатское, развернули посредине шоссе грузовик, колонна, перевозившая архив рейхсляйтера, не останавливаясь, открыла стрельбу по грузовику и по трем моим людям. Не спрашивая, что это за люди, не проверяя документов, первая машина охраны партийного архива наскочила на наш грузовик и опрокинула его в кювет. Дорога оказалась свободной. Пять человек из первой машины прикрытия перескочили в следующий автомобиль, и колонна двинулась дальше. Я понял, что в каждом грузовике следуют, по крайней мере, пять или шесть человек, вооруженных автоматами. Это, как выяснилось впоследствии, не солдаты и не офицеры. Это функционеры из канцелярии НСДАП, мобилизованные в ночь перед эвакуацией архива. Им был дан личный приказ Бормана: стрелять в каждого, независимо от звания, кто приблизится к машинам более чем на двадцать метров.

Я понял, что следует изменить такти-

ку, и отдал приказ расчленить колонну. Одной части своих людей я приказал следовать по параллельной дороге до пересечения шоссе с железнодорожной линией: дежурный там был изолирован, его место занял мой доверенный человек, который должен был преградить путь, опустив шлагбаум. Я же с остальными людьми, разбив колонну надвое (для этого пришлось поджечь фаустпатроном грузовик, следовавший тринадцатым по счету от головной машины), остался на месте. К сожалению, нам пришлось пустить в ход оружие: каждый грузовик отстреливался до последнего патрона, невзирая на то что мы предложили вступить в переговоры. Первые двенадцать грузовиков подошли к переезду в одно время с нашими машинами, но там уже стояло десять танков из резерва 24-го корпуса, которые взяли на себя охрану грузовиков рейхсляйтера. Наши люди были вынуждены отступить. Те грузовики, которые мы отбили, были сожжены, а все мешки и цинковые ящики, захваченные нами, перегружены в бронетранспор-

теры и отвезены на аэродром. Шоферы, доводившие бронетранспортеры до аэродрома, были ликвидированы нашей ударной группой.

Хайль Гитлер!

Ваш СКОРЦЕНИ».

На конспиративную квартиру пришел Рольф с двумя своими помощниками. Он был слегка навеселе и поэтому все время пересыпал свою речь французскими словами. Мюллер сказал ему, что Кальтенбруннер дал согласие на то, чтобы именно он, Рольф, работал с русской в то время, когда Штирлиц отсутствует.

— Шелленберг отправил Штирлица на задание. Рольф в это время будет работать на контрасте: после злого следователя арестованные особенно тянутся к доброму. Штирлиц — добрый, а? — И Кальтенбруннер, засмеявшись, предложил Мюллеру сигарету.

Мюллер закурил и какое-то мгновение раздумывал. Мюллера устраивало, что разговор Бормана с кем-то из работников РСХА был известен Гиммлеру и прошел мимо Кальтенбруннера: эта «вилка» создавала для него возможность маневрировать между двумя силами. Поэтому он,

естественно, никак не посвящал Гиммлера в суть подозрений Кальтенбруннера по поводу Штирлица; в свою очередь, Кальтенбруннер ничего не знал о таинственном разговоре с Борманом, который Гиммлер оценил как предательство и донос.

— Вы хотите, чтобы я посмотрел, как Штирлиц будет работать с радисткой? — спросил Мюллер.

— Зачем? — удивился Кальтенбруннер. — Зачем вам смотреть? По-моему, он достаточно ловкий человек именно в вопросах радиоигры.

«Неужели он забыл свои слова? — удивился Мюллер. — Или он что-то готовит под меня? Стоит ли напоминать ему? Или это делать нецелесообразно? Проклятая контора, в которой надо хитрить! Вместо того чтобы обманывать чужих, приходится дурачить своего! Будь все это неладно!»

— Рольфу дать самостоятельную «партитуру» в работе с русской «пианисткой»?

Радистов обычно называли «пианистами», а руководителя группы разведки — «дирижером». В последнее время, в суматохе, когда Берлин наводнили беженцы, когда приходилось размещать эвакуированных работников, прибывших с архивами из Восточной Пруссии, Аахена, Парижа

и Бухареста, эти термины как-то забылись, и арестованного агента чаще стали определять не по его профессии, а по национальному признаку.

Поэтому Кальтенбруннер грустно повторил:

— С «пианисткой»... Нет, пусть Рольф контактирует со Штирлицем. Цель должна быть одна, а способы достижения могут быть разными...

— Тоже верно.

— Как успехи у дешифровальщиков?

— Там очень мудреный шифр.

— Потрясите русскую. Я не верю, что она не знает шифра резидента.

— Штирлиц ведет с ней работу своими методами.

— Штирлица пока нет, пусть пока ее потрясет Рольф.

— Своим способом?

Кальтенбруннер хотел что-то ответить, но на столе зазвонил телефон из бункера фюрера: Гитлер приглашал Кальтенбруннера на совещание.

Кальтенбруннер, конечно же, помнил разговор о Штирлице. Но позавчера вечером они долго беседовали с Борманом по вопросам финансовых операций за кордоном, и между прочим Борман сказал:

— Пусть ваши люди со своей стороны обеспе-

чат полную секретность этой акции. Привлеките самых надежных людей, которым мы верим: Мюллера, Штирлица…

Кальтенбруннер знал условия игры: если Борман не спрашивал о человеке, а сам называл его, значит, этот человек находился в поле его зрения, значит, это — «нужный» человек.

При самом первом осмотре захваченных архивов Бормана не было найдено ни одного документа, проливавшего свет на пути, по которым партия переводила свои деньги в иностранные банки. Видимо, эти бумаги либо уже были эвакуированы, либо Борман хранил в своей феноменальной памяти банковские шифры и фамилии своих финансовых агентов, которые могли ему понадобиться в первый день мира, либо, наконец, — и это было самое обидное — документы остались в первых машинах, которым удалось прорваться сквозь кордон Скорцени и соединиться с танками армии.

Однако в тех архивах, которые были захвачены людьми Скорцени, содержались документы в высшей мере любопытные. В частности, там находилось письмо Штирлица Борману — хотя и не подписанное, но свидетельствовавшее о том, что в недрах СД зреет измена.

Гиммлер показал эту бумагу Шелленбергу и попросил его провести расследование. Шелленберг обещал выполнить поручение рейхсфюрера, прекрасно отдавая себе отчет в том, что поручение это невыполнимо. Однако наличие этого документа натолкнуло его на мысль, что в архиве Бормана есть более серьезные материалы, которые позволят заново перепроверить своих сотрудников, выяснив, не работали ли они одновременно на Бормана, а если и работали — то начиная с какого времени, над какими вопросами, против кого конкретно. Шелленберг не боялся узнать, что его сотрудники работали на двух хозяев. Ему было важно составить себе картину того, что Борман знал о его святая святых — о его поисках мира.

Несколько сотрудников Шелленберга были посажены за эту работу. Почти каждый час он осведомлялся о новостях. Ему неизменно отвечали: «Пока ничего интересного».

Все ли готово в Берне?

— Как себя чувствует ваш шеф? — спросил высокий. — Здоров?

— Да, — улыбнулся Плейшнер. — Все в порядке.

— Хотите кофе?

— Спасибо. С удовольствием.

Мужчина ушел на кухню и спросил оттуда:

— У вас надежная крыша?

— А я живу на втором этаже, — не поняв жаргона, ответил Плейшнер.

Гестаповец усмехнулся, выключая кофейную мельницу. Он был прав: к нему пришел дилетант, добровольный помощник, — «крыша» на сленге разведчиков всего мира означает «прикрытие».

«Только не надо торопиться, — сказал он себе, — старик у меня в кармане. Он все выложит, только надо с ним быть поосторожнее...»

— Такого в Германии нет, — сказал он, подвигая Плейшнеру чашку кофе. — Эти сволочи поят народ бурдой, а здесь продают настоящий бразильский.

— Забытый вкус, — отхлебнув маленький гло-

ток, согласился Плейшнер. — Я не пил такого кофе лет десять.

— Греки научили меня запивать крепкий кофе водой. Хотите попробовать?

Плейшнера сейчас все веселило, он ходил легко, и думал легко, и дышал легко. Он рассмеялся:

— Я ни разу не пил кофе с водой.

— Это занятно: контраст температуры и вкуса создает особое ощущение.

— Да, — сказал Плейшнер, отхлебнув глоток воды, — очень интересно.

— Что он просил мне передать на словах?

— Ничего. Только эту ампулу.

— Странно.

— Почему?

— Я думал, он скажет мне, когда его ждать.

— Он об этом ничего не говорил.

— Между прочим, я не спросил вас: как с деньгами?

— У меня есть на первое время.

— Если вам понадобятся деньги — заходите ко мне, и я вас ссужу. Много, конечно, я не смогу дать, но для того, чтобы как-то продержаться… Вы, кстати, смотрели — «хвоста» не было?

— «Хвоста»? Это что — слежка?

— Да.

— Знаете, я как-то не обращал внимания.

— А вот это неразумно. Он не проинструктировал вас на этот счет?

— Конечно, инструктировал, но я почувствовал себя здесь впервые за многие годы, особенно после концлагеря, на свободе и опьянел. Спасибо, что вы напомнили мне.

— Об этом никогда нельзя забывать. Особенно в этой нейтральной стране. Здесь хитрая полиция… Очень хитрая полиция. У вас ко мне больше ничего?

— У меня? Нет, ничего.

— Давайте ваш паспорт.

— Он сказал мне, чтобы я паспорт всегда держал при себе…

— Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение?

— Нет.

— Хотя правильно, это — в шифровке, которую вы передали. Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас…

— Вернусь в отель, лягу в кровать и стану отсыпаться.

— Нет… Я имею в виду… Ваша работа…

— Сначала выспаться, — ответил Плейшнер. — Я мечтаю спать день, и два, и три, а потом стану

думать о работе. Все рукописи я оставил в Берлине. Впрочем, я помню свои работы почти наизусть…

Гестаповец взял шведский паспорт Плейшнера и небрежно бросил его на стол.

— Послезавтра в два часа придете за ним, мы сами сделаем регистрацию в шведском консульстве. Точнее сказать, постараемся сделать: шведы ведут себя омерзительно — чем дальше, тем наглее.

— Кто? — не понял Плейшнер.

Гестаповец закашлялся: он сбился с роли и, чтобы точнее отыграть свой прокол, закурил сигарету и долго пускал дым, прежде чем ответить.

— Шведы в каждом проехавшем через Германию видят агента нацистов. Для этих сволочей не важно, какой ты немец — патриот, сражающийся с Гитлером, или ищейка из гестапо.

— Он не говорил мне, чтобы я регистрировался в консульстве…

— Это все в шифровке.

«Его хозяин в Берлине, — думал гестаповец, — это ясно, он ведь сказал, что там остались его рукописи. Значит, мы получаем человека в Берлине… Это удача. Только не торопиться, — повторил он себе, — только не торопиться».

— Ну, я благодарен вам, — сказал Плейшнер, поднимаясь. — Кофе действительно прекрасен, а с холодной водой — тем более.

— Вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились, или хотите, чтобы это сделал я?

— Вы можете сделать это через своих товарищей?

«Коммунист, — отметил для себя гестаповец. — Это интересно, черт возьми!»

— Да, я сделаю это через товарищей. А вы со своей стороны проинформируйте его. И не откладывайте.

— Я хотел это сделать сегодня же, но нигде не было той почтовой марки, которую я должен наклеить на открытку.

— Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Что там должно быть изображено?

— Покорение Монблана… Синего цвета. Обязательно синего цвета.

— Хорошо. Открытка у вас с собой?

— Нет. В отеле.

— Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле.

— Что вы, — улыбнулся Плейшнер, — это обычная открытка, я купил в Берлине десяток таких открыток. А текст я запомнил, так что никакой

оплошности я не допустил…

Пожимая в прихожей руку Плейшнера, человек сказал:

— Осторожность и еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду: здесь только кажущееся спокойствие.

— Он предупреждал меня. Я знаю.

— На всякий случай оставьте свой адрес.

— «Вирджиния». Пансионат «Вирджиния».

— Там живут американцы?

— Почему? — удивился Плейшнер.

— Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями.

— Нет. По-моему, там нет иностранцев.

— Это мы проверим. Если увидите меня в вашем пансионате, пожалуйста, не подходите ко мне и не здоровайтесь — мы не знакомы.

— Хорошо.

— Теперь так… Если с вами произойдет что-то экстраординарное, позвоните по моему номеру. Запомните? — И он два раза произнес цифры.

— Да, — ответил Плейшнер, — у меня хорошая память. Латынь тренирует память лучше любой гимнастики.

Выйдя из парадного, он медленно перешел улицу. Старик в меховом жилете закрывал ставни

своего зоомагазина. В клетках прыгали птицы. Плейшнер долго стоял возле витрины, рассматривая птиц.

— Хотите что-нибудь купить? — спросил старик.

— Нет, просто я любуюсь вашими птицами.

— Самые интересные у меня в магазине. Я поступаю наоборот. — Старик был словоохотлив. — Все выставляют на витрине самый броский товар, а я считаю, что птицы — это не товар. Птицы есть птицы. Ко мне приходят многие писатели: они сидят и слушают птиц. А один из них сказал: «Прежде чем я опущусь в ад новой книги, как Орфей, я должен наслушаться самой великой музыки — птичьей. Иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою Эвридику…»

Плейшнер вытер слезы, внезапно появившиеся у него на глазах, и сказал, отходя от витрины:

— Спасибо вам.

12.3.1945 (02 часа 41 минута)

— Почему нельзя включить свет? Кого вы испугались? — спросил Штирлиц.

— Не вас, — ответил Холтофф.

— Ну, пошли на ощупь.

— Я уже освоился в вашем доме. Тут уютно

и тихо.

— Особенно когда бомбят, — хмыкнул Штирлиц. — Поясница болит смертельно — где-то меня здорово просквозило. Сейчас я схожу в ванную за аспирином. Садитесь. Дайте руку — здесь кресло.

Штирлиц зашел в ванную и открыл аптечку.

— Я вместо аспирина выпью в темноте слабительное, — сказал он, вернувшись в комнату, — давайте опустим шторы, они у меня очень плотные, и зажжем камин.

— Я пробовал опустить шторы, но они у вас с секретом.

— Да нет, просто там кольца цепляются за дерево. Сейчас я все сделаю. А что случилось, старина? Кого вы так боитесь?

— Мюллера.

Штирлиц занавесил окна и попытался включить свет. Услыхав, как щелкнул выключатель, Холтофф сказал:

— Я вывернул пробки. Очень может статься, у вас установлена аппаратура.

— Кем?

— Нами.

— Смысл?

— Вот за этим я к вам и пришел. Разводите свой

камин и садитесь: у нас мало времени, а обсудить надо много важных вопросов.

Штирлиц зажег сухие дрова. В камине загудело; это был какой-то странный камин: сначала он начинал гудеть и, только нагревшись как следует, затихал.

— Ну? — сев в кресло ближе к огню, спросил Штирлиц. — Что у вас, дружище?

— У меня? У меня ничего. А вот что будете делать вы?

— В принципе?

— И в принципе…

— В принципе я рассчитывал принять ванну и завалиться спать. Я продрог и смертельно устал.

— Я пришел к вам как друг, Штирлиц.

— Ну хватит, — поморщился Штирлиц. — Что вы, словно мальчик, напускаете туман? Выпить хотите?

— Хочу.

Штирлиц принес коньяк, налил Холтоффу и себе. Они молча выпили.

— Хороший коньяк.

— Еще? — спросил Штирлиц.

— С удовольствием.

Они выпили еще раз, и Холтофф сказал, хруст-

нув пальцами:

— Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом.

— Не понял.

— Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело с физиками.

— Слушайте, вы говорите со мной загадками, Холтофф! Какое отношение ко мне имеет арестованный физик? Отчего вы негласно проверяли мои дела и зачем Мюллер ищет на меня улики?

— Я не могу вам этого объяснить, сам ни черта толком не понимаю. Я знаю только, что вы под колпаком.

— Я? — поразился Штирлиц. — Это ж идиотизм! Или наши шефы потеряли голову в этой суматохе!

— Штирлиц, вы сами учили меня аналитичности и спокойствию.

— Это вы меня призываете к спокойствию? После того, что сказали мне? Да, я неспокоен. Я возмущен. Я сейчас поеду к Мюллеру…

— Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Сначала выслушайте меня. Я расскажу вам, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что не рассказывал Мюллеру, я ждал вас.

Штирлицу нужно было мгновение, чтобы собраться с мыслями и перепроверить себя: не оставил ли он хоть каких-либо, самых на первый взгляд незначительных, компрометирующих данных — в вопросах, в форме записей ответов, в излишней заинтересованности деталями.

«Как Холтофф поведет себя? — думал Штирлиц. — Прийти и сказать, что мной негласно занимаются в гестапо, — дело, пахнущее для него расстрелом. Он убежденный наци, что с ним стало? Или он щупает меня по поручению Мюллера? Вряд ли. Здесь нет их людей, они должны понимать, что после таких разговоров мне выгоднее скрыться. Сейчас не сорок третий год, фронт рядом. Он пришел по собственной инициативе? Хм-хм… Он не так умен, чтобы играть серьезно. Хотя отменно хитер. Я не очень понимаю такую наивную хитрость, но именно такая наивная хитрость может переиграть и логику, и здравый смысл».

Штирлиц поворошил разгоравшиеся поленца и сказал:

— Ну, валяйте.

— Это все очень серьезно.

— А что в этом мире несерьезно?

— Я вызвал трех экспертов из ведомства Шу-

мана.

Шуман был советником вермахта по делам нового оружия, его люди занимались проблемами расщепления атома.

— Я тоже вызывал экспертов оттуда, когда вы посадили Рунге.

— Да. Рунге посадили мы, гестапо, но отчего им занимались вы, в разведке?

— А вам непонятно?

— Нет. Непонятно.

— Рунге учился во Франции и в Штатах. Разве трудно догадаться, как важны его связи там? Нас всех губит отсутствие дерзости и смелости в видении проблемы. Мы боимся позволить себе фантазировать. «От» и «до», и ни шагу в сторону. Вот наша главная ошибка.

— Это верно, — согласился Холтофф. — Вы правы. Что касается смелости, то спорить я не стану. А вот по частностям готов поспорить. Рунге утверждал, что надо продолжать заниматься изучением возможностей получения плутония из высокорадиоактивных веществ, а именно это вменялось ему в вину его научными оппонентами. Именно они и написали на него донос, я заставил их в этом признаться.

— Я в этом не сомневался.

— А вот теперь наши люди сообщили из Лондона, что Рунге был прав! Американцы и англичане пошли по его пути! А он сидел у нас в гестапо!

— У вас в гестапо, — поправил его Штирлиц. — У вас, Холтофф. Не мы его брали, а вы. Не мы утверждали дело, а вы: Мюллер и Кальтенбруннер. И не у меня, и не у вас, и не у Шумана бабка — еврейка, а у него, и он это скрывал…

— Да пусть бы у него и дед был трижды евреем! — взорвался Холтофф. — Не важно, кто был его дед, если он служил нам, и служил фанатично! А вы поверили негодяям!

— Негодяям?! Старым членам движения? Проверенным арийцам? Физикам, которых лично награждал фюрер?

— Хорошо, хорошо. Ладно… Все верно. Вы правы. Дайте еще коньяку.

— Пробки вы не выбросили?

— Пробка у вас в левой руке, Штирлиц.

— Я вас спрашиваю о пробках электрических.

— Нет. Они там, в столике, возле зеркала.

Холтофф выпил коньяк залпом, резко запрокинув голову.

— Я стал много пить, — сказал он.

— Хотел бы я знать, кто сейчас пьет мало?

— Те, у кого нет денег, — пошутил Холтофф. —

Несчастные люди.

— Кто-то сказал, что деньги — это отчеканенная свобода.

— Это верно, — согласился Холтофф. — Ну а как вы думаете, что решит Кальтенбруннер, если я доложу ему результаты проверки?

— Сначала вы обязаны доложить о результатах своей проверки Мюллеру. Он давал приказ на арест Рунге.

— А вы его вели, этого самого Рунге.

— Я его вел, это точно — по указанию руководства, выполняя приказ.

— А если бы вы отпустили его, тогда мы уже полгода назад продвинулись бы далеко вперед в создании «оружия возмездия».

— Вы это можете доказать?

— Я это уже доказал.

— И с вами согласны все физики?

— Большинство. Большинство из тех, кого я вызвал для бесед. Так что же может быть с вами?

— Ничего, — ответил Штирлиц. — Ровным счетом ничего. Результат научного исследования подтверждается практикой. Где эти подтверждения?

— Они у меня. В кармане.

— Даже так?

— Именно так. Я кое-что получил из Лондона. Самые свежие новости. Это — смертный приговор вам.

— Чего вы добиваетесь, Холтофф? Вы куда-то клоните, а куда?..

— Я готов повторить еще раз: вольно или невольно, но вы, именно вы сорвали работу по созданию «оружия возмездия». Вольно или невольно, но вы, именно вы, вместо того чтобы опросить сто физиков, ограничились десятком и, основываясь на их показаниях — а они были заинтересованы в изоляции Рунге, — способствовали тому, чтобы путь Рунге был признан вредным и неперспективным!

— Значит, вы призываете меня не верить истинным солдатам фюрера, тем людям, которым верят Кейтель и Геринг, а стать на защиту человека, выступавшего за американский путь в изучении атома?! Вы меня к этому призываете? Вы призываете меня верить Рунге, которого арестовало гестапо — а гестапо зря никого не арестовывает, — и не верить тем, кто помогал его разоблачению?!

— Все выглядит логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность: вы бьете и Мюлле-

ра, который приказал арестовать Рунге, и меня, который защищает еврея в третьем колене, и становитесь монументом веры на наших костях. Ладно. Я вам аплодирую, Штирлиц. Я не за этим пришел. Рунге — вы позаботились об этом достаточно дальновидно — хотя и сидит в концлагере, но живет там в отдельном коттедже городка СС и имеет возможность заниматься теоретической физикой. Штирлиц, сейчас я вам скажу главное: я попал в дикий переплет… Если я доложу результаты проверки Мюллеру, он поймет, что у вас есть оружие против него. Да, вы правы, именно он дал приказ взять Рунге. Если я скажу ему, что результаты проверки против вас, это и его поставит под косвенный удар. А на меня, как это ни смешно, обрушатся удары с двух сторон. Меня ударит и Мюллер, и вы. Он — оттого, что мои доводы надо еще проверять и перепроверять, а вы… Ну, вы уже рассказали, как примерно вы станете меня бить. Что мне, офицеру гестапо, делать? Скажите вы, офицер разведки.

«Вот он куда ведет, — понял Штирлиц. — Провокация или нет? Если он меня провоцирует, тогда ясно, как следует поступить. А если это приглашение к танцу? Вот-вот они побегут с корабля. Как крысы. Он не зря сказал про гестапо

и про разведку. Так. Ясно. Еще рано отвечать. Еще рано».

— Какая разница, — пожал плечами Штирлиц, — гестапо или разведка? Мы, в общем-то, несмотря на трения, делаем одно и то же дело.

— Одно, — согласился Холтофф. — Только мы славимся в мире как палачи и громилы, мы — люди из гестапо, а вы — ювелиры, парфюмеры, вы политическая разведка. Вы нужны любому строю и любому государству, а мы принадлежим только рейху: с ним мы или поднимемся, или исчезнем…

— Вы спрашиваете меня, как поступить?

— Да.

— Ваши предложения?

— Сначала я хочу выслушать вас.

— Судя по тому, как вы выворачивали пробки и как вы просили меня опустить шторы…

— Шторы предложили опустить вы.

— Да? Черт возьми, мне казалось, что это ваше предложение… Ладно, не в этом суть. Вы хотите выйти из игры?

— У вас есть «окно» на границе?

— Допустим.

— Если мы уйдем втроем к нейтралам?

— Втроем?

— Да. Именно втроем: Рунге, вы и я. Мы спасем миру великого физика. Здесь его спас я, а организовали бегство вы. А? И учтите: под колпаком вы, а не я. А вы знаете, что значит быть под колпаком у Мюллера. Ну? Я жду ответа.

— Хотите еще коньяку?

— Хочу.

Штирлиц поднялся, не спеша подошел к Холтоффу, тот протянул рюмку, и в этот миг Штирлиц со всего размаха ударил Холтоффа по голове тяжелой граненой бутылкой. Бутылка разлетелась, темный коньяк полился по лицу Холтоффа.

«Я поступил правильно, — рассуждал Штирлиц, выжимая акселератор „хорьха“. — Я не мог поступить иначе. Даже если он пришел ко мне искренне — все равно я поступил верно. Проиграв в частном, я выиграл нечто большее: полное доверие Мюллера».

Рядом, привалившись к дверце, обтянутой красной кожей, полулежал Холтофф. Он был без сознания.

Холтофф, когда говорил, что Мюллер сейчас спит, был не прав. Мюллер не спал. Он только что получил сообщение из центра дешифровки: шифр русской радистки совпадал с шифром, который пришел в Берн. Таким образом, предположил

Мюллер, русский резидент начал искать новую связь — либо решив, что его радисты погибли во время бомбежки, либо почувствовав, что с ними что-то случилось. При этом Мюллер старался все время выводить за скобки эти злосчастные отпечатки пальцев на русском передатчике и на трубке телефона специальной связи с Борманом. Но чем настойчивее он выводил это за скобки, тем больше злосчастные отпечатки мешали ему думать. За двадцать лет работы в полиции у него выработалось особое качество: он поначалу прислушивался к чувству, к своей интуиции, а уже после перепроверял это свое ощущение аналитической разработкой факта. Он редко ошибался: и когда служил Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов, и когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики, и когда выполнял все поручения Гиммлера, и позже, когда он начал тяготеть к Кальтенбруннеру, — чутье не подводило его. Он понимал, что Кальтенбруннер вряд ли забыл поручение, связанное со Штирлицем. Значит, что-то случилось, и, видимо, на высоком уровне. Но что случилось и когда — Мюллер не знал. Поэтому-то он и поручил Холтоффу поехать к Штирлицу и провести спектакль: если

Штирлиц назавтра пришел бы к нему и рассказал о поведении Холтоффа, он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтоффа, тогда он мог с открытыми картами идти к Кальтенбруннеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника.

«Так... — продолжал думать он. — Ладно. Дождемся Холтоффа, там будет видно. Теперь о русской „пианистке“. Видимо, после того как ее шеф начал искать связь через Швейцарию, к девке можно применить наши методы, а не душеспасительные беседы Штирлица. Не может быть, чтобы она была просто орудием в руках у своих шефов. Она что-то должна знать. Практически она не ответила ни на один вопрос. А времени нет. И ключ от шифра, который пришел из Берна, тоже может быть у нее в голове. Это наш последний шанс».

Он не успел додумать: дверь отворилась, и вошел Штирлиц. Он держал под руку окровавленного Холтоффа — его запястья были стянуты за спиной маленькими хромированными наручниками.

В дверях Мюллер заметил растерянное лицо своего помощника Шольца и сказал:

— Вы с ума сошли, Штирлиц!

— Я в своем уме, — ответил Штирлиц, брезгливо бросая в кресло Холтоффа. — А вот он либо сошел с ума, либо стал предателем.

— Воды, — разлепил губы Холтофф. — Дайте воды!

— Дайте ему воды, — сказал Мюллер. — Что случилось, объясните мне толком?

— Пусть сначала он все объяснит толком, — сказал Штирлиц. — А я лучше все толком напишу.

Он дал Холтоффу выпить воды и поставил стакан на поднос, рядом с графином.

— Идите к себе и напишите, что вы считаете нужным, — сказал Мюллер. — Когда вы сможете это сделать?

— Коротко — через десять минут. Подробно — завтра.

— Почему завтра?

— Потому что сегодня у меня есть срочные дела, которые я обязан доделать. Да и потом, он раньше не очухается. Разрешите идти?

— Да. Пожалуйста, — ответил Мюллер.

И Штирлиц вышел. Мюллер освободил запястья Холтоффа от наручников и задумчиво подошел к столику, на котором стоял стакан. Осторожно взяв двумя пальцами стакан, Мюллер

посмотрел на свет. Явственно виднелись отпечатки пальцев Штирлица. Он был в числе тех, у кого еще не успели взять отпечатки пальцев. Скорее повинуясь привычке доводить все дела до конца, чем подозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца и сказал:

— Пусть срисуют пальцы с этого стакана. Если буду спать — будить не надо. По-моему, это не очень срочно…

Данные экспертизы ошеломили Мюллера. Отпечатки пальцев, оставленные на стакане Штирлицем, совпадали с отпечатками пальцев на телефонной трубке и — что самое страшное — с отпечатками пальцев, обнаруженными на русском радиопередатчике…

«Мой дорогой рейхсфюрер!

Только что я вернулся к себе в ставку из Швейцарии.

Вчера я и Дольман, взяв с собой итальянских повстанцев-националистов Парри и Усмияни, выехали в Швейцарию. Переход границы был подготовлен самым тщательным образом. В Цюрихе Парри и Усмияни были помещены в Гирсланденклиник, один из фешенебельных

госпиталей в пригороде. Оказывается, Даллеса и Парри связывает давняя дружба: видимо, американцы готовят свой состав будущего итальянского кабинета, осиянного славой партизан – не коммунистов, а скорее монархистов, яростных националистов, разошедшихся с дуче лишь в последнее время, когда наши войска были вынуждены войти в Италию.

Гюсман приехал за нами и отвез к Даллесу, на его конспиративную квартиру. Даллес уже ждал нас. Он был сдержан, но доброжелателен; сидел возле окна, против света и долго хранил молчание. Первым заговорил Геверниц.

Он спросил меня: „Не вы ли помогли освободить по просьбе Матильды Гедевильс итальянца Романо Гуардини?“ Я ничего не ответил определенно, потому что эта фамилия не удержалась в памяти. Быть может, подумал я, это одна из форм проверки. „Видный католический философ, – продолжал Геверниц, – он очень дорог каждому думающему европейцу“. Я загадочно улыбнулся, памятуя уроки нашего великого актера Шелленберга.

– Генерал, – спросил меня Гюсман, – отдаете ли вы себе отчет в том, что война проиграна Германией?

Я понимал, что эти люди заставят меня пройти через аутодафе – унизительное и для меня лично. Я поступал в свое время так же, когда хотел сделать своим человеком того или иного политического деятеля, стоявшего в оппозиции к режиму.

– Да, – ответил я.

– Понятно ли вам, что деловой базой возможных переговоров может быть только одно: безоговорочная капитуляция?

– Да, – ответил я, понимая, что сам факт переговоров важнее, чем тема переговоров.

– Если же вы тем не менее, – продолжал Гюсман, – захотите говорить от имени рейхсфюрера Гиммлера, то переговоры на этом оборвутся: мистер Даллес будет вынужден откланяться.

Я посмотрел на Даллеса. Я не мог увидеть его лицо – свет падал мне в глаза, но и заметил, как он утвердительно

кивнул головой, однако по-прежнему молчал, не произнося ни слова. Я понял, что это вопрос формы, ибо они прекрасно понимали, от чьего имени может и будет говорить высший генерал СС. Они поставили себя в смешное и унизительное положение, задав этот вопрос. Я мог бы, конечно, ответить им, что я готов говорить только с мистером Даллесом, и, если я узнаю, что он представляет еврейский монополистический капитал, я немедленно прекращаю с ним всяческое общение. Я понял, что они ждут моего ответа. И я ответил:

– Я считаю преступлением против великой германской государственности, являющейся форпостом цивилизации в Европе, продолжение борьбы сейчас, особенно когда мы смогли сесть за общий стол – стол переговоров. Я готов предоставить всю мою организацию, а это самая мощная организация в Италии – СС и полиция, в распоряжение союзников ради того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания марионеточного коммунистического правительства.

– Означает ли это, – спросил Геверниц, – что ваши СС вступят в борьбу против вермахта Кессельринга?

Я понял, что этот человек хочет серьезности во всем. А это – залог реального разговора о будущем.

– Мне нужно заручиться вашими гарантиями для того, – ответил я, – чтобы говорить с фельдмаршалом Кессельрингом предметно и доказательно.

– Естественно, – согласился со мною Геверниц.

Я продолжал:

– Вы должны понять, что, как только Кессельринг даст приказ о капитуляции здесь, в Италии, где ему подчинено более полутора миллионов солдат, пойдет цепная реакция и на остальных фронтах: я имею в виду Западный и Скандинавский – в Норвегии и Дании.

Я понимал также, что в этом важном первом разговоре мне надо выложить свой козырь.

– Если я получу ваши гарантии на продолжение переговоров, я принимаю на себя обязательство не допустить раз-

рушения Италии, как то запланировано по приказу фюрера. Мы получили приказ уничтожить все картинные галереи и памятники старины – словом, сровнять с землей все то, что принадлежит истории человечества. Несмотря на личную опасность, я уже спас и спрятал в свои тайники картины из галереи Уффици и Патти, а также коллекцию монет короля Виктора-Эммануила.

И я положил на стол список спрятанных мною картин. Там были имена Тициана, Боттичелли, Рубенса. Американцы прервали переговоры, изучая этот список.

– Сколько могут стоить эти картины? – спросили меня.

– У них нет цены, – ответил я, но добавил: – По-моему, более ста миллионов долларов.

Минут десять Геверниц говорил о картинах эпохи Возрождения и о влиянии этой эпохи на техническое и философское развитие Европы. Потом в разговор вступил Даллес. Он вступил в разговор неожиданно, без каких-либо переходов.

Он сказал:

– Я готов иметь дело с вами, генерал Вольф. Но вы должны дать мне гарантию, что не вступите ни в какие иные контакты с союзниками. Это – первое условие. Надеюсь также, вы понимаете, что факт наших переговоров должен быть известен только тем, кто здесь присутствует.

– Тогда мы не сможем заключить мир, – сказал я, – ибо вы не президент, а я не канцлер.

Мы обменялись молчаливыми улыбками, и я понял, что таким образом получил их согласие проинформировать Вас о переговорах и просить Ваших дальнейших указаний. Я посылаю это письмо с адъютантом фельдмаршала Кессельринга, который сопровождает своего шефа в полете в Берлин. Этот человек проверен мною самым тщательным образом. Вы вспомните его, поскольку именно Вы утвердили его кандидатуру, когда он был отправлен к Кессельрингу, чтобы информировать нас о связях фельдмаршала с рейхсмаршалом Герингом.

Наша следующая встреча с американ-

цами состоится в ближайшие дни.

Хайль Гитлер!

Ваш КАРЛ ВОЛЬФ».

Вольф написал правду. Переговоры проходили именно в таком или почти в таком ключе. Он лишь умолчал о том, что по пути домой, в Италию, он имел длительную беседу с глазу на глаз в купе поезда с Гюсманом и Вайбелем. Обсуждался состав будущего кабинета Германии. Было оговорено, что канцлером будет Кессельринг, министром иностранных дел — группенфюрер СС фон Нейрат, бывший наместник Чехии и Моравии, министром финансов — почетный член НСДАП Ялмар Шахт, а министром внутренних дел — обергруппенфюрер СС Карл Вольф. Гиммлеру в этом кабинете портфель не предназначался.

12.3.1945 (08 часов 02 минуты)

А Штирлиц гнал вовсю свой «хорьх» к швейцарской границе. Рядом с ним, притихший, бледный, сидел пастор. Штирлиц настроил приемник на Францию — Париж передавал концерт молоденькой певички Эдит Пиаф. Голос у нее был низкий, сильный, а слова песен простые и бесхитростные.

— Полное падение нравов, — сказал пастор, — я не порицаю, нет, просто я слушаю ее и все время вспоминаю Генделя и Баха. Раньше, видимо, люди искусства были требовательнее к себе: они шли рядом с верой и ставили перед собой сверхзадачи. А это? Так говорят на рынках…

— Эта певица переживет себя… Но спорить мы с вами будем после войны. Сейчас еще раз повторите мне все, что вы должны будете сделать в Берне.

Пастор начал рассказывать Штирлицу то, что тот втолковывал ему последние три часа. Слушая пастора, Штирлиц продолжал размышлять: «Да, Кэт осталась у них. Но если бы я увез Кэт, они бы хватились пастора, — видимо, им тоже занимается кто-то из гестапо. И тогда вся операция неминуемо должна была бы провалиться, и Гиммлер может снюхаться с теми, в Берне… Кэт, если случится нечто непредвиденное — а это непредвиденное может случиться, хотя и не должно, — может сказать про меня, если будут мучить ребенка. Но пастор начнет свое дело, и Плейшнер должен был выполнить мои поручения. Телеграмма уже должна быть дома. Ни пастор, ни Плейшнер не знают, чему они дали ход в моей операции. Все будет в порядке.

Я не дам Гиммлеру „сесть за стол переговоров“ в Берне. Теперь не выйдет. Про мое „окно“ Мюллер ничего не знает, и пограничники ничего не скажут его людям, потому что я действую по указанию рейхсфюрера. Следовательно, пастор сегодня будет в Швейцарии. А завтра он начнет мое дело. Наше дело, так сказать точнее».

— Нет, — сказал Штирлиц, оторвавшись от своих раздумий. — Вы должны назначать встречи не в голубом зале отеля, а в розовом.

— Мне казалось, что вы совсем не слушаете меня.

— Я слушаю вас очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста.

«Если пастор уйдет и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть ва-банк. Они сжимают кольцо, тут мне не поможет даже Борман… Черт их там всех знает! Я уйду с ней через мое „окно“, если пойму, что игра приходит к концу. А если можно будет продолжать — улик у них нет и не может быть, — тогда придется уводить Кэт с пальбой, обеспечив себе алиби через Шелленберга. Поехать к нему на доклад домой или в Хохенлихен, он там все время возле Гиммлера, рассчитать время, убрать охрану на конспиративной квартире, разломать

передатчик и увезти Кэт.

Главное — рассчитать время и скорость. Пускай ищут. Им осталось недолго искать. Судя по тому, как Мюллер ужаснулся, увидев Холтоффа с проломанным черепом, тот работал по его заданию. Он не мог бы сработать так точно, не играй он самого себя, не наложись заданная роль на его искренние мысли. И еще неизвестно, как бы он отрабатывал дальше, согласись я уходить с ним и Рунге. Может быть, он пошел бы вместе. Очень может быть. Я ведь помню, как он смотрел на меня во время допроса астронома и как он говорил тогда… Я сыграл с ним верно. Внезапный отъезд я прикрою, с одной стороны, Шелленбергом, с другой — Борманом. Теперь главное — Кэт. Завтра днем я не стану заезжать к себе: я сразу поеду к ней. Хотя нет, нельзя. Никогда нельзя играть втемную. Я обязан буду прийти к Мюллеру».

— Правильно, — сказал Штирлиц, — очень хорошо, что вы на это обратили внимание: садитесь во второе такси, пропуская первое, и ни в коем случае не садитесь в случайные попутные машины. В общем-то, я рассчитываю, что ваши друзья из монастыря, который я вам назвал, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз: все может статься с вами. Все. Если вы проявите

малейшую неосторожность, вы не успеете даже понять, как окажетесь здесь, в подвале Мюллера. Но если случится это — знайте: мое имя, хоть раз вами произнесенное, хоть в бреду и под пыткой, означает мою смерть, а вместе со мной — неминуемую смерть вашей сестры и племянников. Ничто не сможет спасти ваших родных, назови вы мое имя. Это не угроза, поймите меня, это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить.

Штирлиц бросил свою машину, не доезжая ста метров до вокзальной площади. Машина погранзаставы ждала его в условленном месте. Ключ был вставлен в замок зажигания. Окна специально забрызганы грязью, чтобы нельзя было видеть лиц тех, кто будет ехать в машине. В горах, как было условлено, в снег были воткнуты лыжи, возле них стояли ботинки.

— Переодевайтесь, — сказал Штирлиц.

— Сейчас, — шепотом ответил пастор, — у меня дрожат руки, я должен немного прийти в себя.

— Говорите нормально, нас тут никто не слышит.

Снег в долине был серебристый, а в ущельях — черный.

Тишина была глубокая, гулкая. Где-то вдали

шумел движок электростанции: его слышно было временами, с порывами ветра.

— Ну, — сказал Штирлиц, — счастливо вам, пастор.

— Благослови вас Бог, — ответил пастор и неумело пошел на лыжах в том направлении, куда указал ему Штирлиц.

Два раза он упал — точно на линии границы. Штирлиц стоял возле машины до тех пор, пока пастор не прокричал из леса, черневшего на швейцарской стороне ущелья. Там — рукой подать до отеля. Теперь все в порядке. Теперь надо вывести из-под удара Кэт.

Штирлиц вернулся на привокзальную площадь, пересел в свою машину, отъехал километров двадцать и почувствовал, что сейчас заснет. Он взглянул на часы: кончились вторые сутки, как он был на ногах.

«Я посплю полчаса, — сказал он себе. — Иначе я не вернусь в Берлин вовсе».

Он спал ровно двадцать минут. Потом глотнул из плоской фляги коньяку и, улегшись грудью на руль, дал полный газ. Усиленный мотор «хорьха» урчал ровно и мощно. Стрелка спидометра подобралась к отметке «120». Трасса была пустынной. Занимался осторожный рассвет. Чтобы

отогнать сон, Штирлиц громко пел озорные французские песни.

Когда сон снова одолевал его, Штирлиц останавливал машину и растирал лицо снегом. По обочинам дороги снега осталось совсем немного, он был голубой, ноздреватый. И поселки, которые Штирлиц проезжал, тоже были голубоватые, мирные: эту часть Германии не очень-то бомбили союзники, и поэтому в тихий пейзаж маленькие красноверхие коттеджи вписывались точно и гармонично, как и синие сосновые леса, и стеклянные, стремительные реки, мчавшиеся с гор, и бритвенная гладь озер, уже освободившихся ото льда.

Однажды Штирлиц, больше всего любивший раннюю весну, сказал Плейшнеру:

— Скоро литература будет пользоваться понятиями, но отнюдь не словесными длительными периодами. Чем больше информации — с помощью радио и кинематографа — будет поглощаться людьми, а особенно подрастающими поколениями, тем трагичней окажется роль литературы. Если раньше писателю следовало уделить три страницы в романе на описание весенней просыпающейся природы, то теперь кинематографист это делает с помощью полу-

минутной заставки на экране. Ремесленник показывает лопающиеся почки и ледоход на реках, а мастер — гамму цвета и точно найденные шумы. Но заметьте: они тратят на это минимум времени. Они просто доносят информацию. И скоро литератор сможет написать роман, состоящий всего из трех слов: «Эти мартовские закаты…» Разве вы не увидите за этими тремя словами и капель, и легкий заморозок, и сосульки возле водосточных труб, и далекий гудок паровоза — вдали, за лесом, и тихий смех гимназистки, которую юноша провожает домой, сквозь леденящую чистоту вечера?

Плейшнер тогда засмеялся:

— Я никогда не думал, что вы столь поэтичны. Не спорьте: вы обязательно должны тайком от всех сочинять стихи.

Штирлиц ответил ему, что он никогда не сочинял стихов, ибо достаточно серьезно относится к профессии поэта, но живописью он действительно пробовал заниматься. В Испании его потрясли два цвета: красный и желтый. Ему казалось, что пропорциональное соблюдение этих двух цветов может дать точное выражение Испании на холсте. Он долго пробовал писать, но потом понял, что ему все время мешает понять

суть предмета желание соблюсти абсолютную похожесть. «Для меня бык — это бык, а для Пикассо — предмет, необходимый для самовыражения. Я иду за предметом, за формой, а талант подчиняет и предмет, и форму своей мысли, и его не волнует скрупулезность в передаче детали. И смешно мне защищать свою попытку рисовать ссылкой на точно выписанную пятку в „Возвращении блудного сына“. Религии простительно догматически ссылаться на авторитет, но это не простительно художнику», — думал тогда Штирлиц. Он бросил свои «живописные упражнения» (так позже он определял это свое увлечение), когда его сослуживцы стали просить у него картины. «Это похоже и прекрасно, — говорили они ему, — а мазню испанцев, где ничего не понятно, противно смотреть». Это ему сказали о живописи Гойи — он на развалах в Париже купил два великолепно изданных альбома и подолгу любовался полотнами великого мастера. После этого он роздал все свои картины, а кисти и краски подарил сыну портье в том доме в Бургосе, где содержал конспиративную квартиру для встреч с агентурой…

Рольф приехал в дом, где жила Кэт, когда солнце еще казалось дымным, морозным. Небо было

бесцветное, высокое — таким оно бывает и в последние дни ноября, перед первыми заморозками. Единственное, в чем угадывалась весна, так это в неистовом веселом воробьином гомоне и в утробном ворковании голубей…

— Хайль Гитлер! — приветствовала его Барбара, поднявшись со своего места. — Только что мы имели…

Не дослушав ее, Рольф сказал:

— Оставьте нас вдвоем.

Лицо Барбары, до этого улыбчивое, сразу сделалось твердым, служебным, и она вышла в другую комнату. Когда она отворяла дверь, Кэт услышала голос сына — он, видимо, только что проснулся и просил есть.

— Позвольте, я покормлю мальчика, — сказала Кэт, — а то он не даст нам работать.

— Мальчик подождет.

— Но это невозможно. Его надо кормить в определенное время.

— Хорошо. Вы покормите его после того, как ответите на мой вопрос.

В дверь постучали.

— Мы заняты! — крикнул Рольф.

Дверь открылась: на пороге стоял Гельмут с ребенком на руках.

— Пора кормить, — сказал он, — мальчик очень просит кушать.

— Подождет! — крикнул Рольф. — Закройте дверь!

— Да, но... — начал было Гельмут, но Рольф, поднявшись, быстро подошел к двери и закрыл ее прямо перед носом седого контуженного эсэсовца.

— Так вот. Нам стало известно, что вы знаете резидента.

— Я уже объясняла...

— Я знаю ваши объяснения. Я читал их и слушал в магнитофонной записи. Они меня устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали.

— Что случилось сегодня утром?

— Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится, мы все знали с самого начала — нам нужны были доказательства. И мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств: улик, фактов или хотя бы свидетельств двух людей. Так вот, мы получили улику.

— По-моему, я не отказывалась с самого начала...

— Не играйте, не играйте! Не о вас идет речь! И вы прекрасно знаете, о ком идет речь.

— Я не знаю, о ком идет речь. И очень прошу вас: позвольте мне покормить мальчика.

— Сначала вы скажете мне, где и когда у вас были встречи с резидентом, а после пойдете кормить мальчика.

— Я уже объясняла тому господину, который арестовывал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого я не знаю.

— Послушайте, — сказал Рольф, — не валяйте вы дурака.

Он очень устал, потому что все близкие сотрудники Мюллера не спали всю ночь, организуя наблюдение по секторам за машиной Штирлица. Засада была оставлена и возле его дома, и рядом с этой конспиративной радиоквартирой, но Штирлиц как в воду канул. Причем Мюллер запретил сообщать о том, что Штирлица ищут, Кальтенбруннеру, тем более Шелленбергу. Мюллер решил сыграть эту партию сам: он понимал, что это очень сложная партия. Он знал, что именно Борман является полноправным хозяином громадных денежных сумм, размещенных в банках Швеции, Швейцарии, Бразилии и — через подставных лиц — даже в США. Борман не забывает

услуг. Борман не забывает зла. Он записывает все, так или иначе связанное с Гитлером, — даже на носовых платках. Но он ничего не записывает, когда дело касается его самого: он это запоминает навечно. Поэтому партию со Штирлицем, который звонил Борману и виделся с ним, шеф гестапо разыгрывал самостоятельно. Все было бы просто и уже неинтересно со Штирлицем, не существуй его звонка к Борману и их встречи. Круг замкнулся: Штирлиц — шифр в Берне — русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте — Бормане. Поэтому шеф гестапо и его ближайшие сотрудники не спали всю ночь и вымотались до последнего предела, расставляя капканы, готовясь к решительному поединку.

— Я не стану говорить больше, — сказала Кэт. — Я буду молчать до тех пор, пока вы не позволите мне покормить мальчика.

Логика матери противна логике палача. Если бы Кэт молчала о ребенке, ей бы пришлось самой испить горькую чашу пытки. Но она, движимая своим естеством, подталкивала Рольфа к тому решению, которого у него не было, когда он ехал сюда. Он знал о твердости русских разведчиков, он знал, что они предпочитают смерть предательству.

Сейчас вдруг Рольфа осенило.

— Вот что, — сказал он, — не будем попусту тратить время. Мы скоро устроим вам очную ставку с вашим резидентом: почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину, — Рольф резанул взглядом побелевшее лицо Кэт, — у него хорошая машина, не так ли? Но он ошибся: наши машины не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой кутерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все, — повторил он. — До конца.

— Мне нечего говорить.

Тогда Рольф поднялся, отошел к окну и, распахнув его, поежился.

— Снова мороз, — сказал он. — Когда же весна придет? Мы все так устали без весны.

Он закрыл окно, подошел к Кэт и попросил ее:

— Пожалуйста, руки.

Кэт вытянула руки, и на ее запястьях захлопнулись наручники.

— И ноги, пожалуйста, — сказал Рольф.

— Что вы хотите делать? — спросила Кэт. — Что вы задумали?

Он защелкнул замки кандалов у нее на лодыжках и крикнул:

— Гельмут! Барбара!

Никто ему не ответил. Он распахнул дверь и крикнул:

— Барбара! Гельмут!

Те вбежали в комнату, потому что они успели привыкнуть к спокойному голосу Рольфа, а сейчас он был истеричным, высоким, срывающимся. У Рольфа были все основания кричать так: Мюллер поручил ему сегодня, именно сегодня заставить русскую говорить. Когда Штирлиц попадется, главный козырь должен быть в кармане Мюллера.

— Принесите младенца, — сказал Рольф.

Гельмут пошел за мальчиком, а Рольф подвинул к окну маленький стол, на котором стояла ваза с искусственными цветами. Потом он распахнул окно и сказал:

— Я не зря напомнил вам о морозе. Достаточно подержать ваше дитя три или пять минут вот на этом столе — голенького, без пеленок, — и он умрет. Или — или. Решайте.

— Вы не сделаете этого! — закричала Кэт и забилась на стуле. — Вы не сделаете этого! Убейте меня! Убейте! Убейте меня! Вы не можете этого сделать!

— Да, мне это будет очень страшно делать! —

ответил Рольф. — Но именем всех матерей рейха я сделаю это! Именем детей рейха, которые гибнут под бомбами, я сделаю это!

Кэт упала со стула, покатилась по полу, умоляя:

— У вас ведь есть сердце?! Что вы делаете?! Я не верю вам!

— Где ребенок?! — закричал Рольф. — Несите его сюда, черт возьми!

— Вы же мать! — сказала Барбара. — Будьте благоразумны…

Она говорила, и ее била мелкая дрожь, потому что такого ей еще видеть не приходилось.

Гельмут вошел с ребенком на руках. Рольф взял у него мальчика, положил на стол и начал распеленывать. Кэт закричала — страшно, по-звериному.

— Ну! — заорал Рольф. — Вы не мать! Вы тупая убийца! Ну!

Мальчик плакал, и ротик у него был квадратным от обиды.

— Ну! — продолжал кричать Рольф. — Я не буду считать до трех. Я просто отворю окно и сниму с твоего ребенка одеяло. Ясно? Ты выполняешь свой долг перед своим народом, я — перед своим!

Кэт вдруг почувствовала какую-то легкость, все кругом наполнилось звоном, и она потеряла сознание.

Рольф присел на краешек стола и сказал:

— Гельмут, возьми мальчика…

Солдат взял ребенка и хотел уйти, но Рольф остановил его:

— Не уходи. Она сейчас очнется, и я буду продолжать… Барбара, пожалуйста, принесите воды. Ей и мне. И сердечные капли.

— Сколько ей надо капать?

— Не ей, а мне!

— Хорошо. Сколько?

— Откуда я знаю?! Десять. Или тридцать…

Он опустился на корточки перед Кэт и пошлепал ее по щекам.

— Долго это у них продолжается? — спросил Рольф Гельмута.

— Сколько бы времени это продолжалось с вашей матерью?

— Да… С моей матерью… Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне поручают гнусность… Дайте спичку, пожалуйста.

— Я не курю.

— Барбара! — крикнул Рольф. — Захватите спички!

Барбара принесла два стакана воды. Рольф выпил тот стакан, где вода была мутная, чуть голубоватая. Он поморщился и сказал:

— Фу, какая гадость.

Закурив, он опустился на корточки перед Кэт и приподнял ее веко. На него глянул широко раскрытый зрачок.

— А она не умерла? — спросил он. — Ну-ка, Барбара, посмотрите…

Барбара повернула голову Кэт.

— Нет. Она дышит.

— Сделайте с ней что-нибудь. Времени мало. Там ждут.

Барбара начала бить Кэт по щекам — осторожно, массируя, очень ласково. Сделав большой глоток из стакана, она плеснула в лицо Кэт холодной водой. Кэт глубоко вздохнула, и лицо ее несколько раз свела судорога. Мальчик по-прежнему надрывно кричал.

— Да сделайте вы с ним что-нибудь! — попросил Рольф. — Невозможно слушать.

— Он хочет есть.

— Что вы заладили как попугай?! Думаете, у вас одного есть сердце!

Мальчик кричал, заходясь, — крик его был пронзителен. Личико сделалось синим, веки

набухли, и губы обметало белым.

— Уйдите! — махнул рукой Рольф, и Гельмут вышел.

Кэт очнулась, когда Гельмут унес мальчика. Мальчик кричал где-то неподалеку, но в комнате было тепло, значит, Рольф еще не открывал окно.

«Лучше бы мне умереть, — жалобно подумала Кэт. — Это было бы спасением. Для всех. Для маленького, для Юстаса и для меня. Это самый прекрасный, самый добрый выход для меня…»

Рольф сказал:

— По-моему, она пришла в себя.

Барбара снова опустилась на колени перед Кэт и открыла двумя пальцами ее глаза. Кэт смотрела на Барбару, и веко ее дергалось.

— Да, — сказала Барбара.

Кэт попробовала играть продолжение беспамятства, но лицо выдавало ее: оно снова ожило, неподвластное ее воле, потому что в соседней комнате кричал мальчик.

— Хватит, хватит, — сказал Рольф. — Где была правда — там была правда, а сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет. Вы сунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Барбара, помогите ей сесть. Ну! Откройте глаза!

Кэт не двигалась и глаз не открывала.

— Ладно, — сказал Рольф. — Оставьте ее, Барбара. Я ведь вижу — она слышит меня. Сейчас я позову Гельмута и отворю окно, и тогда она откроет глаза, но будет уже поздно.

Кэт заплакала.

— Ну? — спросил Рольф. — Надумали?

Он сам поднял ее и посадил на стул.

— Будете говорить?

— Я должна подумать.

— Я помогу вам, — сказал Рольф. — Чтобы вы не чувствовали себя отступницей.

Он достал из кармана фотографию Штирлица и показал ее Кэт так, чтобы лицо штандартенфюрера не было видно Барбаре.

— Ну? Ясно? Какой смысл вам молчать? Будем говорить?

Кэт молчала.

— Будешь говорить?! — вдруг страшно, пронзительно закричал Рольф и стукнул кулаком по краю стола так, что подпрыгнула ваза с искусственными цветами. — Или будешь молчать?! Гельмут!

Вошел Гельмут с мальчиком, и Кэт потянулась к нему, но Рольф выхватил ребенка у Гельмута и открыл окно. Кэт хотела броситься на Рольфа,

но упала, она страшно кричала, и Рольф тоже кричал что-то — и вдруг сухо прозвучали два выстрела.

«Монсеньору Дадичелли,
Ватикан.
Дорогой друг!

Мне понятно и глубоко дорого то внимание, с каким папский двор, проявивший глубокое мужество в дни сопротивления нацистам, изучает сейчас все возможности оказать содействие человечеству в получении столь нужного всем на этой земле мира…

Мне понятны мотивы, по которым Вы столь скептически отнеслись к тем осторожным предложениям, которые внес на Ваше рассмотрение генерал Карл Вольф. Вы пережили нацистскую оккупацию, Вы своими глазами видели вопиющие беззакония, творимые людьми СС, подчиненными непосредственно тому, кто ищет теперь мира, – генералу Вольфу. Поэтому я оценил Вашу позицию не столько как выжидательную, но скорее как явно отрицательную: нель-

зя верить человеку, одна рука которого творит зло, а вторая ищет добра. Половинчатость и раздвоенность, понятная в человеке, сыне Божьем, никак не может быть оправдана в том, кто определяет политику, в облеченном властью деятеле армии или государства.

Однако, получив отказ в Ватикане, генерал Вольф преуспел в своей деятельности, встретившись здесь, в Берне, с мистером Даллесом. Те сведения, которые поступают к нам, позволяют сделать вывод: переговоры Вольфа и Даллеса продвигаются весьма успешно.

Следует понять мою позицию: если я повторно стану предостерегать господина Даллеса от дальнейших контактов с генералом Вольфом, у наших американских друзей может создаться неверное представление о тех мотивах, которые нами движут: люди государственной политики далеко не всегда понимают политику слуг Божьих.

Рассказывать господину Даллесу о коварстве генерала Вольфа и о тех злодеяниях, которые творили нацисты по его

приказам на земле нашей прекрасной Италии, видимо, не имеет смысла. Во-первых, имеющий глаза да увидит, а во-вторых, не пристало нам, служителям Божьим, выставлять наши страдания напоказ. Мы знали, на что шли, выбирая свой путь.

Положение казалось мне тяжким и безвыходным до тех пор, пока сюда, в Берн, вчера не прибыл пастор Шлаг. Вы должны помнить этого благородного человека, который всегда ратовал за мир, посещая неоднократно Швейцарию, Ватикан и Великобританию до 1933 года, когда выезд из Германии не был сопряжен с теми полицейскими трудностями, которые начались после прихода к власти Гитлера.

Пастор Шлаг прибыл сюда, по его словам, для того, чтобы изучить все реальные возможности заключения мира, скорого и справедливого. Его, как он говорит, переправили сюда люди, обеспокоенные наметившимся сближением точек зрения на будущий мир двух столь противоположных фигур, как Вольф и Даллес.

Пастор Шлаг видит свою миссию в том, чтобы предотвратить возможность дальнейших переговоров между Вольфом и Даллесом, поскольку он глубоко убежден в том, что Вольф отнюдь не занят поисками мира, но лишь зондирует почву для сохранения режима нацистов, получая взамен определенные уступки от тех, кто сейчас обладает единственной реальной властью в Германии, – СС.

Он видит свою миссию также и в том, чтобы наладить контакты между теми людьми, которые, рискуя жизнью, вывезли его из Германии, и представителями союзников. Люди, которых он, по его словам, представляет, считают своим непреложным долгом обусловить ликвидацию всего того, что было связано – и может быть в будущем связано – с СС и НСДАП.

Я бы просил Вашего согласия на более откровенные беседы с пастором Шлагом. Вероятно, стоило бы более широко проинформировать его о происходящем сейчас в Берне.

До тех пор пока я не смогу предложить пастору Шлагу реальных доказательств

нашей искренности, трудно ожидать от него откровенной беседы, в которой он сообщил бы полные данные о тех своих единомышленниках, которые ждут его сигнала в Германии.

Я допускаю мысль, что его единомышленники в Германии совсем не так могущественны, как нам бы того хотелось. Шлаг никогда не был политиком, он всегда был честным пастырем. Однако, обращая свой взор в будущее, я вижу громадную выгоду от того, что пастор, именно пастор, служитель Бога, оказался тем чистым и высоким человеком, который искал мира, рискуя своей жизнью, но при этом не шел на компромисс с нацизмом.

Видимо, этот высокий пример гражданского мужества сына Божьего и Его слуги поможет нам в спасении немцев от большевизма, когда измученный народ Германии должен будет выбирать свое будущее. Отринутый Гитлером от Ватикана, народ Германии так или иначе вернется в лоно святой Христовой веры, и пастор Шлаг – либо светлый образ его – поможет

нашим пастырям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы.

Я ожидаю Вашего ответа в самое ближайшее время.

Ваш НОРЕЛЛИ».

Даллес получил указание от начальника управления стратегических служб Донована впредь обозначать переговоры с Вольфом кодовым словом «Кроссворд». Для того чтобы форсировать переговоры, два генерала — Эйри, начальник разведки британского фельдмаршала Александера, и американец Лемницер — были направлены для участия в них.

В Швейцарии, на тихой улице, в небольшой квартире, снятой через подставных лиц, их ждал Аллен Даллес. Именно здесь они два дня совещались, вырабатывая общую платформу для продолжения переговоров с генералом СС Карлом Вольфом.

— У нас мало времени, — сказал Даллес, — а сделать нам предстоит немало. Позиция союзников должна быть точна и продуманна.

— Англо-американских союзников, — то ли в форме вопроса, то ли в утвердительной форме

сказал генерал Эйри.

— Англо-американских или американо-английских — в данном случае формальный термин, не меняющий существа дела, — ответил Даллес.

Так впервые за все время войны из понятия «союзники» выпало одно лишь слово — «советский». И вместо «англо-советско-американские союзники» в Берне появился новый термин — «англо-американские союзники»…

13.3.1945 (10 часов 31 минута)

Айсман пришел к Мюллеру не переодевшись, а он был грязен: сапоги заляпаны глиной, френч промок — он долго бродил под дождем по Нойштадту, отыскивая сестру пастора Шлага. По тому адресу, что был указан в деле, ее не оказалось. Он обратился в местное отделение гестапо, но и там ничего не знали о родственниках Шлага.

Соседи, правда, сказали ему, что на этих днях, поздней ночью, они слышали шум автомобильного мотора. Но кто приезжал, на какой машине и что после этого сталось с фрау Анной и ее детьми, никто ничего не знал.

Мюллер принял Айсмана с улыбкой. Выслушав оберштурмбаннфюрера, он ничего не сказал. Он достал из сейфа папочку и вытащил оттуда

листок бумаги.

— А как быть с этим? — спросил он, передавая листок Айсману.

Это был рапорт Айсмана, в котором он расписывался в своем полном доверии штандартенфюреру Штирлицу.

Айсман долго молчал, а потом тяжело вздохнул:

— Будь мы все трижды прокляты!

— Вот так-то будет вернее, — согласился Мюллер и положил рапорт в папочку. — Это вам хороший урок, дружище.

— Что же мне, писать новый рапорт на ваше имя?

— Зачем? Не надо…

— Но я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения.

— А хорошо ли это? — спросил Мюллер. — Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет.

— Что же мне делать?

— Верить, что я не дам хода вашему прежнему рапорту. Всего лишь. И продолжать работать. И знать, что скоро вам придется поехать в Прагу: оттуда, может статься, вы вернетесь и к пастору, и к вашему верному другу, с которым вы вместе лежали под бомбами в Смоленске. А теперь

идите. И не горюйте. Контрразведчик должен знать, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому — порой даже самому себе. Мне, правда, верить можно…

Плейшнер, отправляясь на явку в назначенное ему время, был в таком же приподнятом расположении духа, как и накануне. Ему работалось, он выходил из номера только перекусить, и все в нем жило радостью и надеждой на скорый конец Гитлера: он покупал теперь все газеты, и ему, аналитику, знатоку истории, было нетрудно представить себе будущее. В нем боролись два чувства: он понимал, какие испытания выпадут на долю его соплеменников, когда все будет кончено, но он понимал также, что лучше это трагическое очищение, чем победа Гитлера. Он всегда считал, что победа фашизма означала бы гибель цивилизации и в конечном счете привела бы к вырождению нации. Древний Рим погиб лишь потому, что захотел поставить себя над миром, — и пал под ударами варваров. Победы вне страны так увлекали древних правителей, что они забывали и о глухом недовольстве своих рабов, и о ропоте обойденных наградами царедворцев, и о всегдашней неудовлетворенности этим миром мыслителей и философов, которые

жили грезами о прекрасном будущем. Победы над очевидными врагами позволяли императорам, фараонам, трибунам, тиранам, консулам убеждать себя в том, что уж если иностранные государства пали под их ударами, то со своими подданными, выражавшими недовольство, будет куда легче справиться. При этом они упускали из виду, что в армии служили братья, дети, а то и просто знакомые тех, кого пришлось бы — со временем — подавлять. В этом разъединении правителей и подданных были заложены те элементы прогресса, которые Плейшнер определял для себя термином «дрожжи цивилизации». Он понимал, что Гитлер задумал дьявольский эксперимент: победа рейха над миром должна была отразиться ощутимыми материальными благами для *каждого* немца, без различия его положения в немецком обществе. Гитлер хотел сделать всех немцев властителями мира, а остальных людей земли — их подданными. То есть он хотел исключить возможность возникновения «дрожжей цивилизации» — во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. В случае победы Гитлера немцы сделались бы сплошь военной нацией; Гитлер обезоружил бы все остальные народы, лишил их государственных организаций, и тогда

всякая попытка бунта со стороны завоеванных была бы обречена на провал: с организацией вооруженных немцев могла бы соперничать только такая же мощная национальная организация.

…Плейшнер посмотрел на часы: у него еще было время.

В маленьком кафе, за стеклами, которые слезились дождевыми потеками, сидели дети и ели мороженое. Видимо, их привела сюда учительница.

«Я думаю категориями рейха, — улыбнулся про себя Плейшнер, заметив мужчину, сидевшего во главе стола; он был молод и смеялся вместе с детьми. — Это только у нас учителями работают женщины, поскольку все мужчины, годные к несению строевой службы, сражаются на фронте. Вообще, в школах должны работать мужчины. Как в Спарте. Женщина может быть утешителем, но не воспитателем. Готовить к будущему обязан мужчина: это исключит ненужные иллюзии у детей, а нет ничего безжалостнее столкновения детских иллюзий со взрослой реальностью…»

Он зашел в кафе, сел в угол и заказал себе порцию фруктового мороженого. Дети смеялись шуткам своего преподавателя. Он говорил с ними как с равными, нисколько не подстраиваясь

к ним, а, наоборот, ненавязчиво и тактично «подтягивал» их к себе.

Плейшнер вспомнил школы рейха — с их муштрой, истеризмом, страхом перед учителем — и подумал: «Как же я могу желать победы Германии, если нацисты и сюда, в случае их победы, принесут свои обычаи и дети станут маленькими солдатами? Здесь вместо военных игр им предлагают спорт, а девочкам вместо уроков вышивания прививают любовь к музыке. А если бы сюда пришел Гитлер, они бы сидели за столом молчаливые и пожирали глазами своего наставника, а скорее всего наставницу, и шли бы по улицам строем, а не стайкой, и приветствовали бы друг друга идиотскими криками „Хайль Гитлер“. Наверное, это очень страшно — желать поражения своему отечеству, но я все-таки желаю моему отечеству скорейшего поражения…»

Плейшнер неторопливо доедал мороженое и, улыбаясь, слушал голоса детей. Учитель спросил:

— Поблагодарим хозяина этого прекрасного уголка, который дал нам горячий приют и холодное мороженое? Споем ему нашу песню?

— Да! — ответили дети.

— Ставлю на голосование! Кто против?

— Я, — сказала девочка, рыжеволосая, веснушчатая, с огромными голубыми глазами. — Я против.

— Почему?

В это время дверь кафе отворилась, и, отряхивая дождевые капли с плаща, вошел высокий голубоглазый великан — хозяин конспиративной явки. Вместе с ним был худой, подвижный, смуглый крепыш с выразительным, очень сильным скуластым лицом. Плейшнер чуть было не сорвался с места, но вспомнил указание высокого: «Я сам вас узнаю». Плейшнер снова уткнулся в газету, прислушиваясь к разговорам детей.

— Объясни, отчего ты против? — спросил учитель девочку. — Надо уметь отстаивать свою точку зрения. Может быть, ты права, а мы не правы. Помоги нам.

— Мама говорит, что после мороженого нельзя петь, — сказала девочка, — можно испортить горло.

— Мама во многом права. Конечно, если мы будем громко петь или кричать на улице — можно испортить горло. Но здесь… Нет, я думаю, здесь ничего страшного с горлом не случится. Впрочем, ты можешь не петь: мы на тебя не будем в обиде.

И учитель первым запел веселую тирольскую песенку. Хозяин кафе вышел из-за стойки и поаплодировал ребятам. Они шумно вышли из кафе, и Плейшнер задумчиво посмотрел им вслед.

«Где-то я видел этого смуглого, — вдруг вспомнил он. — Может быть, я сидел с ним в лагере? Нет… Там я его не видел. Но я его помню. Я его очень хорошо помню».

Видимо, он слишком внимательно рассматривал лицо смуглого человека, потому что человек, заметив это, улыбнулся, и по этой улыбке Плейшнер вспомнил его — как будто увидел кадр из кинофильма. Он даже услышал его голос: «И пусть он подпишет обязательство — во всем быть с фюрером! Во всем! Чтобы он потом не имел возможности кивать на нас и говорить: „Это они виноваты, я был в стороне!“ Сейчас никто не может быть в стороне! Верность или смерть — такова дилемма для немца, который вышел из концлагеря». Это было на второй год войны: его вызвали в гестапо для очередной беседы — профессора вызывали раз в год, как правило весной. И этот маленький смуглый человек зашел в кабинет, послушал его разговор с гестаповцем в форме, который обычно проводил беседу, и сказал зло, истерично эти запомнившиеся Плейшнеру сло-

ва. Он пошел тогда к брату — тот еще работал главным врачом, и никто не думал, что через год он умрет. «Их обычная манера, — сказал брат. — Они истеричные слепцы, и, заставляя тебя подписывать декларацию верности, они считают, причем искренне, что оказывают тебе этим огромную честь…»

Плейшнер почувствовал, как у него мелко задрожали руки. Он не знал, как поступить: подойти ли к высокому товарищу, хозяину явки, и, отозвав в сторону, предупредить его; выйти ли на улицу и там посмотреть — пойдут они вместе или разойдутся; или же подняться первым и скорее пойти на явку, что бы предупредить оставшегося там человека — он ведь слышал второй голос, когда был там, — чтобы на окне выставили сигнал тревоги.

«Стоп! — вдруг ударило Плейшнера. — А что было в окне, когда я шел туда в первый раз? Там ведь стоял цветок, о котором мне говорил Штирлиц. Или нет? Нет, не может быть, тогда почему же сейчас этот товарищ… Нет, это начинается истерика! Стоп! Сначала взять себя в руки. Стоп».

Высокий, так и не взглянув на Плейшнера, вышел вместе с маленьким смуглым спутником.

Плейшнер протянул хозяину купюру — свою последнюю купюру, но у хозяина не было сдачи, и он выбежал в магазин напротив, а когда он, отдав деньги Плейшнеру, проводил его до выхода, улица была пуста: ни высокого хозяина явки, ни маленького черного человека уже не было видно.

«А может быть, он вроде Штирлица? — подумал Плейшнер. — Может быть, он так же, как и тот, играл свою роль, сражаясь с наци изнутри?»

И эта мысль немного успокоила его.

Плейшнер подошел к дому, где помещалась явка, и, взглянув в окно, увидел высокого хозяина явки и черноволосого. Они стояли, беседуя о чем-то, между ними торчал большой цветок — сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги, а гестаповцы так и не смогли узнать, что этот цветок означает: «все в порядке» или «явка провалена». Но поскольку они были убеждены, что русский не знает об охоте за ним, они оставили все как было, а так как Плейшнер по рассеянности зашел сюда первый раз, не обратив внимания на цветок, гестаповцы решили, что на явке все в порядке.

Люди в окне увидели Плейшнера, и высокий,

улыбнувшись, кивнул ему. Плейшнер первый раз видел улыбку на его лице, и она ему помогла все понять. Он тоже улыбнулся и начал переходить улицу: он решил, что так его не увидят сверху и он уйдет от них. Но, оглянувшись, он заметил двух мужчин, которые шли, разглядывая витрины, метрах в ста за ним.

Плейшнер почувствовал, как у него ослабли ноги.

«Кричать? Звать на помощь? Эти подоспеют первыми. Я знаю, что они со мной сделают. Штирлиц рассказал, как человека можно усыпить или выдать за невменяемого».

В минуту наибольшей опасности, если только человек не потерял способности драться, внимание становится особо отточенным, мозг работает с наибольшим напряжением.

Плейшнер увидел в том парадном, куда он входил позавчера, кусочек синего, снежного, низкого неба.

«Там проходной двор, — понял он. — Я должен войти в парадное».

Он вошел в парадное на негнущихся, дрожащих в коленях ногах, с замершей улыбкой на сером лице.

Плейшнер прикрыл за собой дверь и бросился

к противоположной двери, которая вела во двор. Он толкнул дверь рукой и понял, что она заперта. Он навалился плечом — дверь не поддавалась.

Плейшнер еще раз навалился на дверь, но она была заперта, а вылезти в маленькое оконце — то самое, сквозь которое он увидел небо, — было невозможно.

«И потом, это не кино, — вдруг устало, безразлично и как-то со стороны подумал он, — старый человек в очках будет вылезать в окно и застрянет там. Ноги будут болтаться, и они меня втащат сюда за ноги».

Он поднялся на один пролет вверх, но окно, из которого можно было выпрыгнуть, выходило на пустынную, тихую улицу, а по этой улице неторопливо шли те двое, в шляпах, которые теперь уже не рассматривали витрины, а внимательно следили за подъездом, куда он вошел. Он взбежал еще на один пролет: окно, выходившее во двор, было забито фанерой.

«Самое страшное, когда они раздевают, осматривают рот — тогда чувствуешь себя насекомым. В Риме просто убивали — прекрасное время честной антики! А эти хотят либо перевоспитать, либо истоптать, перед тем как вздернуть на виселице. Конечно, я не выдержу их пыток.

Тогда, в первый раз, мне нечего было скрывать, и все равно я не выдержал и сказал то, что они хотели, и написал все то, что они требовали. А тогда я был моложе. И сейчас, когда они станут пытать меня, я не выдержу и предам память брата. А предать память брата — это уже смерть. Так лучше уйти без предательства».

Он остановился около двери. На табличке было написано: «Доктор права Франц Ульм».

«Сейчас я позвоню к этому Ульму, — вдруг понял Плейшнер. — И скажу ему, что у меня плохо с сердцем. У меня ледяные пальцы, лицо, наверное, белое. Пусть он вызовет врача. Пусть они стреляют в меня при людях, я тогда успею что-нибудь крикнуть».

Плейшнер нажал кнопку звонка. Он услышал, как за дверью протяжно зазвенел гонг.

«А Ульм спросит, где я живу? — думал он. — Ну и что? Пусть я окажусь в руках этой полиции. Скоро конец Гитлеру, и тогда я смогу сказать, кто я и откуда».

Он нажал кнопку еще раз, но ему никто не ответил.

«Этот Ульм сейчас сидит в кафе и ест мороженое. Вкусное, с земляникой и сухими вафлями, — снова как-то издалека подумал Плейшнер. —

И читает газету, и нет ему до меня дела».

Плейшнер побежал вверх. Он промахнул полпролета, рассчитывая позвонить в ту дверь, что была напротив явки. Но дверь конспиративной квартиры открылась, и высокий блондин, выйдя на площадку, сказал:

— Вы ошиблись номером, товарищ. В этом подъезде живем только мы и Ульм, которому вы звонили, а все остальные в разъездах.

Плейшнер стоял возле окна в парадном — большого, немытого.

«А на столе осталась рукопись. Я оборвал ее на половине страницы, а мне так хорошо писалось. Если бы я не поехал сюда, я бы сидел и писал в Берлине, а потом, когда все это кончилось, я бы собрал все написанное в книгу. А сейчас? Никто даже не поймет моего почерка».

Он выпрыгнул из окна — ногами вперед. Он хотел закричать, но не смог, потому что сердце его разорвалось, как только тело ощутило под собой стремительную пустоту.

Свой со своим?

Когда Мюллеру доложили, что Штирлиц идет по коридору РСХА к своему кабинету, он на мгновение растерялся. Он был убежден, что Штирлица схватят где-нибудь в другом месте. Он не мог объяснить себе отчего, но его все время не оставляло предчувствие удачи. Он, правда, знал свою ошибку: он вспомнил, как повел себя, увидав избитого Холтоффа. Штирлиц, конечно же, все понял, поэтому, считал Мюллер, он и пустился в бега. А то, что Штирлиц появился в имперском управлении безопасности, то, что он неторопливо шел по коридорам, раскланиваясь со знакомыми, вызвало в Мюллере растерянность, и уверенность в удаче поколебалась.

Расчет Штирлица был прост: ошарашить противника — значит одержать половину победы. Он был убежден, что схватка с Мюллером предстоит сложная: Холтофф ходил вокруг самых уязвимых узлов в его операции с физиками. Однако Холтофф был недостаточно подготовлен, чтобы сформулировать обвинение, а каждый пункт, к которому он выходил — скорее интуитивно,

чем доказуемо, — мог быть опровергнут или, во всяком случае, имел два толкования. Штирлиц вспомнил свой разговор с Шелленбергом во время праздничного вечера, посвященного дню рождения фюрера. После выступления Гиммлера состоялся концерт, а потом все перешли в большой зал — там были накрыты столы. Рейхсфюрер, по своей обычной манере, пил сельтерскую воду, его подчиненные хлестали коньяк. Вот тогда-то Штирлиц и сказал Шелленбергу о том, как неразумно работают люди Мюллера с физиком, арестованным месяца три назад. «Худо-бедно, а все-таки я посещал физико-математический факультет, — сказал он. — Я не люблю вспоминать, потому что из-за этого я был на грани импотенции, но тем не менее это факт. И потом, от того Рунге идут связи: он учился и работал за океаном. Выгоднее этим заняться нам, право слово».

Он подбросил эту идею Шелленбергу, а после начал рассказывать смешные истории, и Шелленберг хохотал, а после они отошли к окну и обсуждали ту операцию, которую Шелленберг поручил провести группе своих сотрудников, в числе которых был и Штирлиц. Это была большая дезинформация, рассчитанная на то, чтобы

вбить клин между союзниками. Штирлиц еще тогда обратил внимание на то, как Шелленберг гнет свою линию — неназойливо, очень осторожно, всячески подстраховываясь, — на разъединение западных союзников с Кремлем. Причем в этой своей игре он, как правило, обращал главный удар против Кремля. Шелленберг, в частности, организовал снабжение немецких частей, стоявших на Атлантическом валу, английским автоматическим оружием. Это оружие было закуплено немцами через нейтралов и провозилось через Францию без соблюдения тех мер предосторожности, которые обычно сопутствовали такого рода перевозкам. Правда (это тоже разыграли весьма технично), после того как партизаны-коммунисты похитили несколько английских автоматов с немецких складов, был выпущен приказ, грозивший расстрелом за халатность при охране складов оружия. Приказ этот был выпущен большим тиражом, и агенты Шелленберга, работавшие по выявлению партизан, нашли возможность «снабдить» маки одним экземпляром этого приказа. На основе этих «секретных» данных можно было сделать вывод, что западные союзники и не думают высаживаться во Франции или Голландии: иначе зачем про-

давать свое оружие врагу? Шелленберг одобрил работу Штирлица — именно он занимался организационной стороной вопроса. Шеф разведки не выходил тогда из кабинета — он ждал взрыва в Кремле, ждал краха коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. Штирлиц работал не покладая рук, его предложения встречали полное одобрение Шелленберга. Однако ничего не произошло. Штирлиц сообщил Москве все, что знал об этой операции, когда она только начиналась, и предупредил, что Лондон никогда не продавал оружия нацистам и вся эта затея от начала и до конца тонкая и далеко нацеленная дезинформация.

Разговаривая на празднике, посвященном дню рождения фюрера, Штирлиц намеренно ушел от дела физика Рунге, сосредоточившись на обсуждении провала игры с Кремлем. Он знал, что Шелленберг, прирожденный разведчик, профессионал, забывая детали, никогда не упускает главных, узловых моментов любой беседы — даже со своим садовником. Шелленберг был равным противником, и в вопросах стратегии его было обойти очень трудно, скорее всего — невозможно. Но, присматриваясь к нему, Штирлиц отметил любопытную деталь: интересные предложения своих сотрудников

Шелленберг поначалу как бы и не замечал, переводя разговор на другую тему. И только по прошествии дней, недель, а то и месяцев, добавив к этому предложению свое понимание проблемы, выдвигал эту же идею, но теперь уже как свою, им предложенную, выстраданную, им замысленную операцию. Причем он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, он так точно увязывал тему с общим комплексом вопросов, стоящих перед рейхом, что никто и не заподозривал его в плагиате.

Штирлиц рассчитал точно.

— Штандартенфюрер, — сказал ему Шелленберг через две недели, — видимо, вопрос технического превосходства будет определяющим моментом в истории мира, особенно после того, как ученые проникнут в секрет атомного ядра. Я думаю, что это поняли ученые, но до этого не дотащились политики. Мы будем свидетелями деградации профессии политика в том значении, к которому мы привыкли за девятнадцать веков истории. Политике станет диктовать будущее наука. Понять изначальные мотивы тех людей науки, которые вышли на передовые рубежи будущего, увидеть, кто вдохновляет этих людей в их поиске, — задача не сегодняшнего дня,

вернее, не столько сегодняшнего дня, сколько далекой перспективы. Поэтому вам придется поработать с арестованным физиком. Я запамятовал его имя…

Штирлиц понял, что это проверка. Шелленберг хотел установить, понял ли дока Штирлиц, откуда идет этот его монолог, кто ему подбросил в свое время идею. Штирлиц молчал, хмуро разглядывая свои пальцы. Он выдержал точную паузу и недоумевающе взглянул на бригаденфюрера. Так он вышел на дело Рунге. Так он сломал реальную возможность немцев — победи точка зрения Рунге — подойти вплотную к созданию атомной бомбы уже в конце 1944 года.

Впрочем, он убедился после многих дней, проведенных вместе с Рунге, что сама судьба мешала Германии получить новое оружие: Гитлер после Сталинградского сражения отказывался финансировать научные исследования в области обороны, если ученые не обещали ему реальной, практической отдачи через три, максимум через шесть месяцев. Правда, Гиммлер заинтересовался проблемой атомного оружия и создал «Объединенный фонд военно-научных исследований», однако Геринг, отвечавший за ведение научных изысканий в рейхе, потребовал пере-

дачи под свое ведение гимлеровского детища. Гениальные немецкие физики были, таким образом, вне поля зрения руководства, тем более что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, за исключением Шпеера и Шахта.

Теперь Штирлицу надо было выиграть следующий этап сражения: он должен был доказать свою правоту в этом деле. Он продумал свою позицию. У него сильная позиция. Он обязан победить Мюллера, и он победит его.

Он не стал заходить в свой кабинет. В приемной Мюллера он сказал Шольцу:

— Дружище, спросите вашего шефа: какие будут указания? Он меня сразу примет или можно полчаса поспать?

— Я узнаю, — ответил Шольц и скрылся за дверью. Он отсутствовал минуты две. — На ваше усмотрение, — сказал он, возвратившись. — Шеф готов принять вас сейчас, а можно перенести разговор на вечер.

«Усложненный вариант, — понял Штирлиц. — Он хочет выяснить, куда я пойду. Не надо оттягивать: все равно партия будет решена за час, от силы — два. Даже если потребуется вызвать экспертов из института Шумана».

— Как вы мне посоветуете, так я и поступлю, — сказал он. — Я боюсь, вечером он уйдет к руководству и я буду ждать его до утра. Логично?

— Логично, — согласился Шольц.

— Значит, сейчас?

Шольц распахнул двери и сказал:

— Пожалуйста, штандартенфюрер.

В кабинете у Мюллера было темно: обергруппенфюрер сидел в кресле возле маленького столика и слушал Би-би-си. Шла антинемецкая пропагандистская передача. На коленях у Мюллера лежала папка с бумагами, и он внимательно просматривал документы, то и дело настраивая приемник на уходящую волну. Мюллер выглядел усталым, воротник его черного френча был расстегнут, табачный дым висел в кабинете, словно облако в ущелье.

— Доброе утро, — сказал Мюллер. — Я, честно говоря, не ждал вас так рано.

— А я боялся, что получу взбучку за опоздание.

— Все вы боитесь получить от старика Мюллера взбучку… Хоть раз я кому давал взбучку? Я старый добрый человек, про которого распускают слухи. Ваш красавец-шеф злее меня в тысячу раз. Только он в своих университетах научился

улыбаться и говорить по-французски. А я до сих пор не знаю, полагается резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком.

Вздохнув, Мюллер поднялся, застегнул воротник френча и сказал:

— Пошли.

Заметив недоумевающий взгляд Штирлица, он усмехнулся:

— Сюрприз приготовил.

Они вышли из кабинета, и Мюллер бросил Шольцу:

— Мы, видимо, вернемся…

— Но я еще не вызвал машину.

— А мы никуда не едем.

Мюллер тяжело спустился по крутым лестницам в подвал. Там было оборудовано несколько камер для особо важных преступников. У входа в этот подвал стояли три эсэсовца.

Мюллер вынул из заднего кармана свой «вальтер» и протянул охранникам.

Штирлиц вопросительно посмотрел на Мюллера, и тот чуть кивнул головой. Штирлиц протянул свой «парабеллум», и охранник сунул его себе в карман. Мюллер взял яблоко, лежавшее на столике охраны, и сказал:

— Неудобно идти без подарка. Даже если мы

оба поклонники свободной любви, без всяких обязательств, и тогда к бывшим дружкам надо идти с подарком.

Штирлиц заставил себя рассмеяться: он понял, отчего так сказал Мюллер. Однажды его люди пытались завербовать южноамериканского дипломата; они показали ему несколько фотографий — дипломат был снят в постели с белокурой девицей, которую ему подсунули люди Мюллера. «Либо, — сказали ему, — мы перешлем эти фото вашей жене, либо помогите нам». Дипломат долго рассматривал фотографии, а потом спросил: «А нельзя ли мне с ней полежать еще раз? Мы с женой обожаем порнографию». Это было вскоре после приказа Гиммлера — обращать особое внимание на семейную жизнь немецких разведчиков. Штирлиц тогда ворчал: «Надо исповедовать свободную любовь без всяких обязательств, тогда человека невозможно поймать на глупостях». Когда ему рассказали об этом случае, Штирлиц только присвистнул: «Найдите мне такую жену, которая любит порнографию, я сразу отдам ей руку и сердце. Только, по-моему, перуанец вас переиграл: он испугался своей жены до смерти, но не подал вида и сработал как актер, а вы ему поверили. Ты бы испугался своей жены?

Конечно! А меня не возьмешь — я боюсь только самого себя, ибо у меня нет ни перед кем никаких обязательств. Единственное, что плохо, — некому будет приносить в тюрьму передачи».

Возле камеры № 7 Мюллер остановился. Он долго смотрел в глазок, потом дал знак охраннику, и тот отпер тяжелую дверь. Мюллер вошел в камеру первым. Следом за ним вошел Штирлиц. Охранник остался возле двери. Камера была пуста.

…Гиммлер позвонил Кальтенбруннеру и попросил отправить в Прагу — генералу Крюгеру из гестапо — проект секретного приказа фюрера.

— А то он прохлопает и Прагу, как это было с Краковом. И ознакомьтесь с приказом сами — это образец мужества и гения фюрера.

«Содержание: о разрушении объектов на территории Германии.

Борьба за существование нашего народа заставляет также и на территории Германии использовать все средства, которые могут ослабить боеспособность противника и задержать его продвижение. Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно

или косвенно нанести максимальный урон боевой мощи противника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерянных территорий можно будет снова использовать не разрушенные перед отступлением или выведенные из строя на незначительный срок пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства. Противник оставит нам при отступлении лишь выжженную землю и не посчитается с нуждами населения.

Поэтому я *приказываю*:

1. Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по прошествии незначительного времени подлежат уничтожению.

2. Ответственность за уничтожение возлагается: на военные командные инстанции в отношении всех военных

объектов (включая дорожные сооружения и средства связи), на гауляйтеров и государственных комиссаров обороны в отношении всех промышленных предприятий, предприятий коммунального хозяйства, а также всякого рода материальных запасов. Войска должны оказывать гауляйтерам и государственным комиссарам обороны необходимую помощь в выполнении стоящих перед ними задач.

3. Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех командиров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утрачивают свою силу.

ГИТЛЕР».

13.3.1945 (11 часов 09 минут)

— Логично, — сказал Мюллер, выслушав Штирлица. — Ваша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником.

— «Хвост», который вы пускали за черным «хорьхом» шведского дипломата, был связан с этим делом?

— А вы чувствовали за собой «хвост»? Вы остро

ощущаете опасность?

— Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой «хвост». А что касается опасности — какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был за кордоном…

— У вас голова не болит?

— От забот? — улыбнулся Штирлиц.

— От давления, — ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок.

«Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, — отметил Штирлиц. — Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?»

— Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов.

— Не верю я в это… Хотя покажите.

— Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте.

— Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.

— Если вы предложите мне изменить родине — я сделаю это. Обергруппенфюрер, вы осторожно глянули на часы: они у вас отстают на семь минут. Я люблю открытые игры — со своими,

во всяком случае.

Мюллер хмыкнул:

— Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем.

— Я бы не согласился.

— Почему?

— А вы ревнивы. Как любящая, преданная жена. Это самая страшная форма ревности. Так сказать, тираническая…

— Верно. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать иначе: забота о товарищах.

Мюллер снова посмотрел на часы: теперь он сделал это не таясь. «А профессионал он первоклассный, — отметил Мюллер. — Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец. Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им рейху».

— Ладно, — сказал Мюллер. — Будем в открытую. Сейчас, дружище, одну минуту…

Он поднялся и распахнул тяжелую дверь. Несмотря на свою бронированную массивность, она открывалась легко, одним пальцем. Он попросил одного из охранников, который лениво чистил ногти спичкой:

— Позвоните Шольцу, спросите, какие ново-

сти?

Мюллер рассчитывал, что за два-три часа Рольф заставил русскую говорить. Ее привозят сюда — и очная ставка. Да — да, нет — нет. Проверка факта — долг контрразведчика. Партитуру допроса Штирлица он тоже разыграл достаточно точно: как только Рольф разработает русскую, Мюллер выкладывает свои козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит его лицом к лицу с «пианисткой».

— Сейчас, — обернулся в камеру Мюллер. — Я тут жду одного сообщения…

Штирлиц пожал плечами:

— Зачем надо было приводить меня сюда?

— Тут спокойнее. Если все кончится так, как хочу я, — мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве.

— И мой шеф будет знать об этом?

— Чьей ревности вы боитесь — его или моей?

— А как вы думаете?

— Мне нравится, что вы идете напролом.

Вошел охранник и сказал:

— Он просил передать, что там никто не отвечает.

Мюллер удивленно поджал губы, а потом подумал: «Вероятно, он выехал сюда без звонка.

Мой канал мог быть занят, и он поехал, чтобы сэкономить время. Отлично. Значит, через десять–пятнадцать минут Рольф привезет ее сюда».

— Ладно, — повторил Мюллер. — Как это в Библии: время собирать камни, и время кидать их.

— У вас было неважно в школе с Законом Божьим, — сказал Штирлиц. — В Книге Екклесиаста сказано: время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий.

Мюллер спросил:

— Вы так хорошо изучали Библию с подопечным пастором?

— Я часто перечитывал Библию. Чтобы врага побеждать, надо знать его идеологию, не так ли? Учиться этому во время сражения — заранее обречь себя на проигрыш.

«Неужели они перехватили пастора за границей? Могли. Хотя, когда я возвращался на станцию, мне не повстречалась ни одна машина. Но они могли проехать передо мной и сидеть на заставе. А сейчас — по времени это сходится — подъезжают к Берлину. Так. Значит, я сразу требую очной ставки с моим хозяином. Только наступать. Ни в коем случае не обороняться. А ес-

ли Мюллер спросит меня, где агент Клаус? Дома в столе должно лежать письмо. Слишком явное алиби, но кто мог думать, что события выведут их именно на пастора? Это еще надо доказать — с Клаусом. А время за меня».

Мюллер медленно вытаскивал из нагрудного кармана голубой конверт.

«В конце концов, я сделал свое дело, — продолжал размышлять Штирлиц. — Дурашка, он думает, что своей медлительностью загипнотизирует меня и я начну метаться. Бог с ним. Пастор может заговорить, но это не так страшно. Главное, Плейшнер предупредил наших о провале Кэт и о том, что Вольф начал переговоры. Или начинает их. Наши должны все дальше организовать, если я провалюсь, — они теперь понимают, в каком направлении смотреть. Моего шифра Мюллер не узнает — его не знает никто, кроме меня и шефа. От меня они шифр не получат — в этом я уверен».

— Вот, — сказал Мюллер, достав из кармана три дактилоскопических отпечатка, — смотрите, какая занятная выходит штука. Эти пальчики, — он подвинул Штирлицу первый снимок, — мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, довер-

чивому Холтоффу. Эти пальчики, — Мюллер выбросил второй снимок, словно козырную карту из колоды, — мы нашли… где бы вы думали… А?

— Мои пальчики можно найти в Голландии, — сказал Штирлиц, — в Мадриде, Токио, в Анкаре.

— А еще где?

— Я могу вспомнить, но на это уйдет часов пятнадцать, не меньше, и мы пропустим не только обед, но и ужин…

— Ничего. Я готов поголодать. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств… Ну, вспомнили?

— Если я арестован и вы официально уведомите меня об этом, я стану отвечать на ваши вопросы как арестованный. Если я не арестован — я отвечать вам не буду.

— Не буду, — повторил Мюллер слова Штирлица в его же интонации. — Не буду.

Он взглянул на часы: если бы вошел Рольф, он бы начал с передатчика, но Рольф задерживался, поэтому Мюллер сказал:

— Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно все воспроизвести — желательно по минутам, — что вы делали после телефонного разговора из комнаты спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем?!

«Он не открыл третью карточку с пальцами, — отметил Штирлиц. — Значит, у него есть еще что-то. Значит, бить надо сейчас, чтобы он не был таким уверенным дальше».

— После того как я зашел в комнату спецсвязи — связистов за халатность надо предать суду, они оставили ключ в двери и ринулись, как зайцы, в бомбоубежище, — я встретился с партайгеноссе Борманом. И провел с ним более двух часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану.

— Не зарывайтесь, Штирлиц, не зарывайтесь… Я все-таки старше вас — и по званию, да и по возрасту тоже.

«Он ответил мне так, давая понять, что я не арестован, — быстро отметил для себя Штирлиц. — А если так — у них нет улик, но они их ждут — и от меня тоже. Значит, у меня еще остался шанс».

— Прошу простить, обергруппенфюрер.

— Вот так-то лучше. Итак, о чем вы говорили с Борманом? С партайгеноссе Борманом?

— Я смогу ответить на ваш вопрос только в его присутствии — прошу понять меня правильно.

— Если бы вы ответили мне без него, это бы, возможно, избавило вас от необходимости отве-

чать на третий вопрос…

Мюллер еще раз посмотрел на часы — Рольф должен сейчас спускаться вниз, Мюллер всегда считал, что удивительно точно чувствует время.

— Я готов ответить на ваш третий вопрос, если он касается меня лично, но не интересов рейха и фюрера.

— Он касается лично вас. Эти пальцы мои люди нашли на чемодане русской радистки. И на этот вопрос вам будет ответить труднее всего.

— Почему? На этот вопрос мне как раз нетрудно ответить: чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа — он подтвердит.

— А он уже подтвердил это.

— В чем же дело?

— Дело в том, что отпечатки ваших пальцев были зафиксированы в районном отделении гестапо еще до того, как чемодан попал к нам.

— Ошибка исключена?

— Исключена.

— А случайность?

— Возможна. Только доказательная случайность. Почему из двадцати миллионов чемоданов, находящихся в берлинских домах, именно на том, в котором русская радистка хранила свое хозяйство, обнаружены ваши пальцы? Как это

объяснить?

— Хм… хм… Объяснить это действительно трудно или почти невозможно. И я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению. Я понимаю вас, обергруппенфюрер. Я понимаю вас…

— Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц, даю вам честное слово, я отношусь к вам с симпатией.

— Я верю.

— Сейчас Рольф приведет сюда русскую, и она поможет нам сообразить — я уверен, — где вы могли «наследить» на чемодане.

— Русская? — пожал плечами Штирлиц. — Которую я взял в госпитале? У меня абсолютная зрительная память. Если бы я встречал ее раньше, я бы помнил лицо. Нет, она нам не поможет…

— Она поможет нам, — возразил Мюллер. — И поможет нам… — он снова начал копаться в нагрудном кармане, — вот это… из Берна.

И он показал его шифровку, отправленную с Плейшнером в Берн.

«А вот это — провал, — понял Штирлиц. — Это — крах. Я оказался идиотом. Плейшнер или трус, или растяпа, или провокатор».

— Так вы подумайте, Штирлиц. — Мюллер тяжело поднялся и неторопливо вышел из камеры.

Штирлиц почувствовал пустоту, когда дверь камеры мягко затворилась. Он испытывал это чувство несколько раз. Ему казалось, что он переставал стоять на ногах, и тело казалось Штирлицу чужим, нереальным, в то время как все окружающие его предметы становились еще более рельефными, угластыми (его после поражало, как много углов он успевал находить в такие минуты, и он потешался над этой своей странной способностью), и еще он точно различал линии соприкосновения разных цветов и даже отличал, в каком месте тот или иной цвет становился пожирающим, главным. Первый раз он испытал это ощущение в 1940 году в Токио, поздней осенью, он тогда шел с резидентом СД в германском посольстве по Мариноутику, а возле здания «Токио банка» лицом к лицу столкнулся со своим давнишним знакомым по Владивостоку — офицером контрразведки Воленькой Пимезовым. Тот бросился к нему с объятиями, понесся через дорогу (русский — всюду русский: ко всему приучается, только дорогу переходит всегда нарушая правила движения; Штирлиц после по этому признаку определял за границей соплеменников), выронил из рук папку и закричал:

— Максимушка, родной!

Во Владивостоке они были на «вы», и смешно было подумать, что Пимезов когда-либо сможет обратиться к нему — «Максимушка» вместо почтительного «Максим Максимович». Это свойство русского человека за границей — считать соплеменника товарищем, а знакомого, пусть даже случайного, — закадычным другом — тоже было точно подмечено Штирлицем, и поэтому он с такой неохотой ездил в Париж, где было много русских, и в Стамбул, а ездить ему в оба эти города приходилось довольно часто. После встречи с Пимезовым — Штирлиц точно сыграл презрительное недоумение и отстранил тогда от себя Волю брезгливым жестом указательного пальца, и тот, словно побитый, подобострастно улыбаясь, отошел, и Штирлиц заметил, какой у него грязный воротничок (точные цвета — белый, серый и почти черный на его воротничке — он потом в порядке эксперимента воспроизвел на бумаге, вернувшись в отель, и готов был побиться об заклад, что сделал это не хуже, чем фотоаппарат, — жаль только, не с кем было об заклад побиться), — именно после этой встречи в Токио он начал жаловаться врачам, что у него портится зрение. По прошествии полугода стал носить дымчатые очки — по предписанию врачей, счи-

тавших, что у него воспалена слизистая оболочка левого глаза из-за постоянного переутомления. Он знал, что очки, особенно дымчатые, изменяют облик человека порой до неузнаваемости, но сразу надевать очки после токийского инцидента было неразумно, этому предшествовала полугодовая подготовка. При этом, естественно, советская секретная служба в Токио самым внимательным образом в течение этого же полугода наблюдала за тем, не будет ли проявлен кем-либо из немцев интерес к Пимезову. Интереса к нему не проявили: видимо, офицер СД посчитал фигуру опустившегося русского эмигранта в стоптанных башмаках и грязной рубашке объектом, не заслуживающим серьезного внимания.

Второй раз такое же ощущение пустоты и собственной нереальности он ощутил в Минске в сорок втором году. Он тогда был в свите Гиммлера и вместе с рейхсфюрером участвовал в инспекционной поездке по концлагерям советских военнопленных. Русские пленные лежали на земле — живые рядом с мертвыми. Это были скелеты, живые скелеты. Гиммлера тогда стошнило, и лицо его сделалось мучнисто-белым. Штирлиц шел рядом с Гиммлером и все время испытывал желание достать свой «вальтер»

и всадить обойму в веснушчатое лицо этого человека в пенсне, и оттого, что это искушение было физически столь выполнимым, Штирлиц тогда весь захолодел и испытал сладостное блаженство. «А что будет потом? — смог спросить себя он. — Вместо этой твари посадят следующую и увеличат личную охрану. И все». Он тогда, перед тем как побороть искушение, ощутил свое тело легким и чужим. И, как дьявольское наваждение, отгонял от себя фотографически точное цветовое восприятие лица Гиммлера. Веснушки у него были размыто-желтыми на щеках и возле висков и четко-коричневыми около левого уха, а на шее — черными, пупырчатыми. Только по прошествии года он смог впервые засмеяться над этим своим постоянным видением…

Штирлиц заставил тело спружиниться и, ощущая мелкое дрожание мышц, простоял с минуту. Он почувствовал, как кровь прилила к лицу и в глазах забили острые зелененькие молоточки.

«Вот так, — сказал он себе. — Надо чувствовать себя — всего, целиком, как кулак. Несмотря на то, что здешние стены крашены тремя красками — серой, синей и белой».

И он засмеялся. Он не заставлял себя смеяться. Просто эти проклятые цвета… Будь они неладны.

Слава богу, что Мюллер вышел. Это он сглупил, дав ему время на раздумье. Никогда нельзя давать время на раздумье, если считаешь собеседника серьезным противником. Значит, Мюллер, у тебя самого не сходятся концы с концами.

…Мюллер выехал на место убийства Рольфа и Барбары вместе с самыми лучшими своими сыщиками — он взял стариков, которые ловили с ним и бандитов, и национал-социалистов Гитлера, и коммунистов Тельмана и Брандлера в двадцатых годах. Он брал этих людей в самых редких случаях. Он не переводил их в гестапо, чтобы они не зазнались: каждый следователь гестапо рассчитывал на помощь экспертов, агентов, диктофонов. А Мюллер был поклонником Чапека — сыщики у этого писателя обходились своей головой и своим опытом.

— Вообще ничего? — спросил Мюллер. — Никаких зацепок?

— Ни черта, — ответил седой, с землистым лицом старик. Мюллер забыл, как его зовут, но тем не менее они были на «ты» с 1926 года. — Это похоже на убийство, которое ты раскручивал в Мюнхене.

— На Эгмонштрассе?

— Да. Дом девять, по-моему…

— Восемь. Он ухлопал их на четной стороне улицы.

— Ну и память у тебя.

— Ты на свою жалуешься?

— Пью йод.

— А я — водку.

— Ты генерал, тебе можно пить водку. Откуда у нас деньги на водку?

— Бери взятки, — хмыкнул Мюллер.

— А потом попадешь к твоим палачам? Нет уж, лучше я буду пить йод.

— Валяй, — согласился Мюллер. — Валяй. Я бы с радостью, говоря откровенно, поменял свою водку на твой йод.

— Работы слишком много?

Мюллер ответил:

— Пока — да. Скоро ее вовсе не будет. Так что же нам делать, а? Неужели совсем ничего нет?

— Пусть в твоей лаборатории посмотрят пули, которыми укокошили эту парочку.

— Посмотреть — посмотрят, — согласился Мюллер. — Обязательно посмотрят, можешь не беспокоиться…

Вошел второй старик и, подвинув стул, присел рядом с Мюллером.

«Старый черт, — подумал Мюллер, глянув

на него, — а ведь он красится. Точно, у него крашеные волосы».

— Ну? — спросил Мюллер. — Что у тебя, Гюнтер?

— Кое-что есть.

— Слушай, чем ты красишь волосы?

— Хной. У меня не седые и не черные, а какие-то пегие, а Ильзе умерла. А молоденькие предпочитают юных солдат, а не старых сыщиков… Слушай, тут одна старуха в доме напротив видела час назад женщину и солдата. Женщина шла с ребенком, видно, очень торопилась.

— В чем был солдат?

— Как в чем? В форме.

— Я понимаю, что не в трусах. В черной форме?

— А… Ну, конечно, в черной, вы ж зеленым охрану не поручаете.

— В какую они сели машину?

— Они в автобус сели.

Мюллер от неожиданности даже приподнялся:

— Как в автобус?!

— Так. В семнадцатый номер.

— В какую сторону они поехали?

— Туда, — махнул рукой Гюнтер, — на запад.

Мюллер сорвался со стула, снял трубку телефо-

на и, быстро набрав номер, сказал:

— Шольц! Быстро! Наряды по линии семнадцатого автобуса — раз! «Пианистка» и охранник. Что? Откуда я знаю, как его зовут! Выясните, как его зовут! Второе — немедленно поднимите на него досье: кто он, откуда, где родные. Весь послужной список — мне, сюда, немедленно. Если выясните, что он хоть раз был в тех же местах, где бывал Штирлиц, сразу сообщите! И отправьте наряд в засаду на квартиру Штирлица.

Мюллер сидел на стуле возле двери. Эксперты гестапо и фотограф уже уехали. Он остался со своими стариками, и они говорили о былом, перебивая друг друга.

«Я проиграл, — рассуждал Мюллер, успокоенный разговором старых товарищей, — но у меня в запасе Берн. Конечно, там все сложнее, там чужая полиция и чужие пограничники. Но один козырь, главный, пожалуй, выбит из рук. Они бежали к автобусу, значит, это не спланированная операция. Нет, об операции нелепо и думать. Русские, конечно, стоят за своих, но посылать на смерть несколько человек для того, чтобы попытаться, лишь попытаться, освободить эту „пианистку“, — вряд ли. Хотя, с другой стороны, они понимали, что ребенок — ее ахиллесова пята.

Может быть, поэтому они пошли на такой риск? Нет, что я несу? Не было никакого запланированного риска: она садилась в автобус, ничего себе риск… Это идиотизм, а никакой не риск…»

Он снова снял трубку телефона:

— Это Мюллер. По всем линиям метро тоже предупредите полицию о женщине с ребенком. Дайте ее описание, скажите, что она воровка и убийца, пусть берут. Если ошибутся и схватят больше, чем надо, — я их извиню. Пусть только не пропустят ту, которую я жду…

Штирлиц постучал в дверь камеры: видимо, за те часы, которые он здесь провел, сменился караул, потому что на пороге теперь стоял не давешний красномордый парень, а Зигфрид Бейкер — Штирлиц не раз играл с ним в паре на теннисных кортах.

— Привет, Зигги, — сказал он, усмехнувшись, — хорошенькое место для встреч, а?

— Зачем вы требовали меня, номер седьмой? — спросил Бейкер очень спокойно, ровным, чуть глуховатым голосом.

«У него всегда была замедленная реакция, — вспомнил Штирлиц. — Он хорошо бил с левой, но всегда чуть медлил. Из-за этого мы с ним проиграли пресс-атташе из Турции».

— Неужели я так изменился? — спросил Штирлиц и автоматически пощупал щеки: он не брился второй день, и щетина отросла довольно большая, но не такая колючая; колючей щетина была только вечером — он приучил себя бриться дважды в день.

— Зачем вы требовали меня, номер седьмой? — повторил Зигфрид.

— Ты что, сошел с ума?

— Молчать! — гаркнул Бейкер и захлопнул тяжелую дверь.

Штирлиц усмехнулся и сел на металлический, ввинченный в бетонный пол табурет. «Когда я подарил ему английскую ракетку, он даже прослезился. Все громилы и подлецы слезливы. Это у них такая форма истерии, — подумал Штирлиц. — Слабые люди обычно кричат или бранятся, а громилы плачут. Слабые — это я неверно подумал. Добрые — так сказать вернее. И только самые сильные люди умеют подчинять себя себе».

Когда они первый раз играли в паре с Зигфридом против обергруппенфюрера Поля (Поль перед войной учился играть в теннис, чтобы похудеть), Бейкер шепнул Штирлицу:

— Будем проигрывать с нулевым счетом

или для вида посопротивляемся?

— Не болтай ерунды, — ответил Штирлиц, — спорт есть спорт.

Зигфрид начал немилосердно подыгрывать Полю. Он очень хотел понравиться обергруппенфюреру. А Поль накричал на него:

— Я вам не кукла! Извольте играть со мной как с соперником, а не как с глупым ребенком!

Зигфрид с перепугу начал гонять Поля по площадке так, что тот, рассвирепев, бросил ракетку и ушел с корта. Бейкер тогда побледнел, и Штирлиц заметил, как у него мелко дрожали пальцы.

— Я никогда не думал, что в тюрьмах работают такие нервные ребята, — сказал Штирлиц. — Ничего не случилось, дружище, ничего, ровным счетом. Иди в душ, приди в себя и отправляйся домой, а послезавтра я расскажу тебе, что надо делать.

Зигфрид ушел, а Штирлиц разыскал Поля, и они вместе славно поиграли пять сетов. Поль взмок, но Штирлиц играл с ним ровно, отрабатывая — ненавязчиво и уважительно — длинные удары с правой. Поль это отчетливо понял, но манера Штирлица держаться на корте, полная иронического доброжелательства и истинно спортивного демократизма, была ему симпатична. Поль по-

просил Штирлица поиграть с ним пару месяцев.

— Это слишком тяжелое наказание, — рассмеялся Штирлиц, и Поль тоже рассмеялся — так это добродушно прозвучало у Штирлица. — Не сердитесь на моего верзилу, он боится генералов и относится к вам с преклонением. Мы будем работать с вами по очереди, чтобы не потерять квалификацию.

После того как Штирлиц во время следующей игры представил Полю Зигфрида, тот проникся к своему напарнику громадным почтением и с тех пор старался при каждом удобном случае оказать Штирлицу какую-нибудь услугу. То он бегал ему за пивом после того, как кончалась партия, то дарил диковинную авторучку (видно, отобранную у арестованного), то приносил букетик первых цветов. Однажды он подвел Штирлица, но опять-таки невольно, по своей врожденной службистской тупости. Штирлиц выступал на соревнованиях против испанца. Парень был славный, либерально настроенный, но Шелленберг задумал с ним какую-то пакость и для этого попросил, через своих людей в спортивном комитете, чтобы испанца вывели на игру со Штирлицем. Естественно, Штирлица ему представили как сотрудника Министерства

иностранных дел, а после окончания партии к Штирлицу подбежал Зигфрид и брякнул: «Поздравляю с победой, штандартенфюрер! СС всегда побеждает!»

Штирлиц не очень-то горевал о сорванной операции, а Зигфрида хотели посадить на гауптвахту с отчислением из СС. Снова Штирлиц пошел хлопотать за него — на этот раз уже через прирученного Поля, и спас его. На следующий день после этого отец Зигфрида — высокий, худой старик с детскими голубыми глазами — приехал к нему с подарком: хорошей копией Дюрера.

— Наша семья никогда не забывает добро, — сказал он. — Мы все — ваши слуги, господин Штирлиц, отныне и навсегда. Ни мой сын, ни я — мы никогда не сможем отблагодарить вас, но если вам понадобится помощь — в досадных, раздражающих повседневных мелочах, — мы почтем за высокую честь выполнить любую вашу просьбу.

С тех пор старик каждую весну приезжал к Штирлицу и ухаживал за его садом, и особенно за розами, вывезенными из Японии.

«Несчастное животное, — вдруг подумал Штирлиц о Зигфриде, — его даже винить-то ни в чем нельзя. Все люди равны перед Богом — так, ка-

жется, утверждал мой друг пастор. Черта с два. Чтобы на земле восторжествовало равенство, надо сначала очень четко договориться: отнюдь не все люди равны перед Богом. Есть люди — люди, а есть — животные. И винить их в этом нельзя. А уповать на моментальное перевоспитание даже не глупо, а преступно».

Дверь камеры распахнулась. На пороге стоял Зигфрид.

— Не сидеть! — крикнул он. — Ходить кругами!

И перед тем как захлопнуть дверь, он незаметно выронил на пол крохотную записку. Штирлиц поднял ее. «Если вы не будете говорить, что мой папа окучивал и подстригал ваши розы, я обещаю бить вас вполсилы, чтобы вы могли дольше держаться. Записку прошу съесть».

Штирлиц вдруг почувствовал облегчение: чужая глупость всегда смешна. И снова взглянул на часы. Мюллер отсутствовал третий час.

«Девочка молчит, — понял Штирлиц. — Или они свели ее с Плейшнером? Это не страшно — они ничего друг о друге не знают. Но что-то у него не связалось. Что-то случилось, у меня есть тайм-аут».

Он неторопливо расхаживал по камере, пере-

бирая в памяти все, что имело отношение к этому чемодану. Да, точно, он подхватил его в лесу, когда Эрвин поскользнулся и чуть было не упал. Это было в ночь перед бомбежкой. Один только раз.

«Минута! — остановил себя Штирлиц. — Перед бомбежкой… А после бомбежки я стоял там с машиной… Там стояло много машин… Был затор из-за того, что работали пожарные. Почему я там оказался? А, был завал на моей дороге на Кудам. Я потребую вызвать полицию из оцепления, которая дежурила в то утро. Значит, я там оказался потому, что меня завернула полиция. В деле была фотография чемоданов, которые сохранились после бомбежки. Я говорил с полицейским, я помню его лицо, а он должен помнить мой жетон. Я помог перенести чемодан — пусть он это опровергнет. Он не станет это опровергать, я потребую очной ставки. Скажу, что я помог плачущей женщине нести детскую коляску: та тоже подтвердит, такое — запоминается».

Штирлиц забарабанил в дверь кулаками, и дверь открылась, но у порога стояли два охранника. Третий — Зигфрид — провел мимо камеры Штирлица человека с парашей в руках. Лицо человека было изуродовано, но Штирлиц узнал личного шофера Бормана, который не был аген-

том гестапо и который вел машину, когда он, Штирлиц, говорил с шефом партийной канцелярии.

— Срочно позвоните обергруппенфюреру Мюллеру. Скажите ему — я вспомнил! Я все вспомнил! Попросите немедленно спуститься ко мне!

«Плейшнер еще не привезен! Раз. С Кэт сорвалось. У меня есть только один шанс выбраться — время. Время и Борман. Если я промедлю — он победит».

— Хорошо, — сказал охранник, — сейчас доложу.

…Из приюта для грудных младенцев вышел солдат, пересек улицу и спустился в подвал разрушенного дома. Там, на разбитых ящиках, сидела Кэт и кормила сына.

— Что? — спросила она.

— Плохо, — ответил Гельмут. — Надо полчаса ждать. Сейчас кормят детей и все заняты.

— Мы подождем, — успокоила его Кэт. — Мы подождем… Откуда им знать, где мы?

— Вообще-то да, только надо скорее уходить из города, иначе они нас найдут. Я знаю, как они умеют искать. Может, вы пойдете? А я, если получится, догоню вас? А? Давайте уговоримся, где я вас буду ждать…

— Нет, — покачала головой Кэт, — не надо. Я буду ждать… Все равно мне некуда идти в этом городе…

Шольц позвонил на радиоквартиру к Мюллеру и сказал:

— Обергруппенфюрер, Штирлиц просил передать вам, что он все вспомнил.

— Да? — оживился Мюллер и сделал знак рукой сыщикам, чтобы они не так громко смеялись. — Когда?

— Только что.

— Хорошо. Скажите, что я еду. Ничего нового?

— Ничего существенного.

— Об этом охраннике ничего не собрали?

— Нет, всякая ерунда…

— Какая именно? — спросил Мюллер машинально, скорее для порядка, стягивая при этом с соседнего стула свое пальто.

— Сведения о жене, о детях и родных.

— Ничего себе ерунда! — рассердился Мюллер. — Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда в таком деле, дружище Шольц. Сейчас приеду, и разберемся в этой ерунде… К жене послали людей?

— Жена два месяца назад ушла от него. Он лежал в госпитале после контузии, а она ушла.

Уехала с каким-то торговцем в Мюнхен.

— А дети?

— Сейчас, — ответил Шольц, пролистывая дело, — сейчас посмотрю, где его дети… Ага, вот… У него один ребенок, трех месяцев. Она его сдала в приют.

«У русской грудной сын! — вдруг высветило Мюллеру. — Ему нужна кормилица! А Рольф, наверное, переусердствовал с ребенком!»

— Как называется приют?

— Там нет названия. Приют в Панкове. Моцартштрассе, семь. Так… Теперь о его матушке…

Мюллер не стал слушать данных о его матушке. Он швырнул трубку, медлительность его исчезла, он надел пальто и сказал:

— Ребята, сейчас может быть большая стрельба, так что приготовьте «бульдоги». Кто знает приют в Панкове?

— Моцартштрассе, восемь? — спросил седой.

— Ты снова перепутал, — ответил Мюллер, выходя из квартиры. — Ты всегда путаешь четные и нечетные цифры. Дом семь.

— Улица как улица, — сказал седой, — ничего особенного. Там можно красиво разыграть операцию: очень тихо, никто не мешает. А путаю я всегда. С детства. Я болел, когда в классе проходи-

ли четные и нечетные.

И он засмеялся, и все остальные тоже засмеялись, и были они сейчас похожи на охотников, которые обложили оленя.

Нет, Гельмут Кальдер не был связан со Штирлицем. Их пути нигде не пересекались. Он честно воевал с сорокового года. Он знал, что воюет за свою родину, за жизнь матери, трех братьев и сестры. Он верил в то, что воюет за будущее Германии против неполноценных славян, которые захватили огромные земли, не умея их обрабатывать; против англичан и французов, которые продались заокеанской плутократии; против евреев, которые угнетают простой народ, спекулируя на несчастьях людей. Он считал, что гений фюрера будет сиять в веках.

Так было до осени сорок первого года, когда они шли с песнями по миру и пьяный воздух победы делал его и всех его товарищей по танковым частям СС веселыми, добродушными гуляками. Но после битвы под Москвой, когда начались бои с партизанами и поступил приказ убивать заложников, Гельмут несколько растерялся.

Когда его взводу первый раз приказали расстрелять сорок заложников возле Смоленска — там пустили под откос эшелон, — Гельмут запил: пе-

ред ними стояли женщины с детьми и старики. Женщины прижимали детей к груди, закрывали им глаза и просили, чтобы их поскорее убили.

Он тогда по-настоящему запил; многие его товарищи тоже молча тянули водку, и никто не рассказывал смешных анекдотов, и никто не играл на аккордеонах. А потом они снова ушли в бой, и ярость схваток с русскими вытеснила воспоминания о том кошмаре.

Он приехал на побывку, и их соседка пришла в гости с дочкой. Дочку звали Луиза. Она была хорошенькая, ухоженная и чистенькая. Гельмут видел ее во сне — каждую ночь. Он был на десять лет старше. Поэтому он чувствовал к ней нежность. Он мечтал, какой она будет женой и матерью. Гельмут всегда мечтал о том, чтобы в его доме возле вешалки стояло много детских башмачков: он любил детей. Как же ему не любить детей, ведь сражался-то он за их счастье?!

Во время следующего отпуска Луиза стала его женой. Он вернулся на фронт, и Луиза тосковала два месяца. А когда поняла, что забеременела, ей стало скучно и страшно. Она уехала в город. Когда родился ребенок, она отдала его в приют, Гельмут в это время лежал в госпитале после тяжелой контузии. Он вернулся домой, и ему сказали,

что Луиза уехала с другим. Он вспомнил русских женщин: однажды его приятель за пять банок консервов провел ночь с тридцатилетней учительницей — у нее была девочка, которую нечем было кормить. Наутро русская повесилась: она оставила соседям девочку, положив в пеленки портрет ее отца и эти самые банки с консервами. А Луиза, член гитлерюгенда, настоящая арийка, а не какая-то дикая славянка, бросила их девочку в приют, как последняя шлюха.

Он ходил в приют раз в неделю, и ему изредка позволяли гулять с дочкой. Он играл с ней, пел ей песни, и любовь к дочке стала главным в его жизни. Он увидел, как русская радистка укачивала своего мальчика, и тогда впервые отчетливо спросил себя: «Что же мы делаем? Они такие же люди, как мы, и так же любят своих детей, и так же готовы умереть за них».

И когда он увидел, что делает Рольф с младенцем, решение пришло к нему не от разума, а от чувства. В Рольфе и в Барбаре, смотревшей, как собираются убить младенца, он увидел Луизу, которая стала для него символом предательства.

...Вернувшись через полчаса в приют, он стоял возле окна, выкрашенного белой краской, и чувствовал, как в нем что-то надломилось.

— Добрый день, — сказал он женщине, которая выглянула в окошко. — Урсула Кальдер. Моя дочь. Мне позволяют…

— Да. Я знаю. Но сейчас девочка должна спать.

— Я уезжаю на фронт. Я погуляю с ней, и она поспит у меня на руках. А когда придет время менять пеленки, я принесу ее…

— Боюсь, что доктор не разрешит.

— Я ухожу на фронт, — повторил Гельмут.

— Хорошо… Я понимаю… Я постараюсь. Подождите, пожалуйста.

Ждать ему пришлось десять минут, и все тело его била дрожь, а зуб не попадал на зуб.

Окошко открылось, и ему протянули белый конверт. Лицо дочки было закрыто ослепительно-белой пеленкой: девочка спала.

— Вы хотите выйти на улицу?

— Что? — не понял Гельмут. Слова сейчас доходили до него издалека, как сквозь плотно затворенную дверь. У него так бывало после контузии, когда он очень волновался.

— Пройдите в наш садик — там тихо, и, если начнется налет, вы сможете быстро спуститься в убежище.

Гельмут вышел на дорогу и услышал скрип тормозов у себя за спиной. Военный шофер оста-

новил грузовик в двух шагах и, высунувшись в окно, закричал:

— Вы что, не видите машины?!

Гельмут прижал дочку к груди и, пробормотав что-то, потрусил к входу в подвал. Кэт ждала его, стоя возле двери. Мальчик лежал на ящике.

— Сейчас, — сказал Гельмут, протягивая Кэт дочку, — подержите ее, я побегу на остановку. Там видно, когда из-за поворота подходит автобус. Я успею прибежать за вами.

Он увидел, как Кэт бережно взяла его девочку, и снова в глазах у него закипели слезы, и он побежал к пролому в стене.

— Лучше вместе, — сказала Кэт, — давайте лучше вместе!

— Ничего, я сейчас, — ответил он, остановившись в дверях. — Все-таки они могут иметь ваши фотографии, а я до контузии был совсем другим. Сейчас, ждите меня.

Он засеменил по улице к остановке. Улица была пустынной.

«Приют эвакуируют, и я потеряю дочку, — думал он. — Как ее потом найдешь? А если погибать под бомбами, то лучше вместе. И эта женщина сможет ее покормить — кормят ведь близнецов… И потом за это Бог мне все простит. Или хотя бы

тот день под Смоленском».

Начался дождик.

«Нам доехать до Зоо, и там мы сядем в поезд. Или пойдем с беженцами. Здесь легко затеряться. И она будет кормить девочку, пока мы не придем в Мюнхен. А там поможет мама. Там можно будет найти кормилицу. Хотя они ведь будут искать меня. К маме нельзя идти. Не важно. Надо просто уйти из этого города. Можно пойти на север, к морю, к Хансу: в конце концов, кто может подумать, что я пошел к товарищу по фронту?»

Гельмут натянул свою шапку на уши. Озноб проходил.

«Хорошо, что пошел дождь, — думал он, — хоть что-то происходит. Когда ждешь и все тихо — это плохо. А если сыплет снег или идет дождь — тогда как-то не так одиноко».

Моросило по-прежнему, но внезапно тучи разошлись, и высоко-высоко открылась далекая голубизна и краешек белого солнца.

«Вот и весна, — подумал Гельмут. — Теперь недолго ждать травы…»

Он увидел, как из-за поворота показался автобус. Гельмут было повернулся, чтобы бежать за Кэт, но заметил, как из-за автобуса выскочили черные машины и наперекор всем правилам

движения понеслись к детскому приюту. Гельмут снова почувствовал, как у него ослабели ноги и захолодела левая рука: это были машины гестапо. Первым его желанием было бежать, но он понял, что они заподозрят бегущего и сразу же схватят русскую с его девочкой и увезут к себе. Он боялся, что сейчас с ним снова случится приступ и его возьмут в беспамятстве. «А потом схватят девочку, станут ее раздевать и подносить к окну, а ведь еще только-только начинается весна, и когда-то еще будет тепло. А так… она услышит и все поймет, эта русская. Не может быть, чтобы…»

Гельмут вышел на асфальт и, вскинув руку с «парабеллумом», выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал, после того как услышал автоматную очередь и еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль: «Я же не сказал ей, как зовут девоч…»

И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер.

— Нет, господин, — говорила Мюллеру сестра милосердия, выносившая девочку Гельмуту, — это было не больше десяти минут назад…

— А где же девочка? — хмуро интересовался седой сыщик, стараясь не глядеть на труп своего

товарища с крашеными волосами. Он лежал на полу, возле двери, и было видно, как он стар: видимо, последний раз он красил волосы давно; и шевелюра его была двухцветной — пегой у корешков и ярко-коричневой выше.

— По-моему, они уехали на машине, — сказала вторая женщина, — рядом с ним остановилась машина.

— Что, девочка сама села в машину?

— Нет, — ответила женщина серьезно, — она сама не могла сесть в машину. Она ведь еще грудная…

Мюллер сказал:

— Осмотрите здесь все как следует, мне надо ехать к себе. Третью машину сейчас пришлют, она уже выехала… А как же девочка могла очутиться в машине? — спросил он, обернувшись у двери. — Какая была машина?

— Большая.

— Грузовик?

— Да. Зеленый…

— Тут что-то не так, — сказал Мюллер и отворил дверь. — Поглядите в домах вокруг…

— Кругом развалины.

— И там посмотрите, — сказал он, — а в общем-то, все это настолько глупо, что работать

практически невозможно. Мы не сможем понять логику непрофессионала.

— А может, он хитрый профессионал? — сказал седой, закуривая.

— Хитрый профессионал не поехал бы в приют, — хмуро ответил Мюллер и вышел: только что, когда он звонил к Шольцу, тот сообщил ему, что на явке в Берне русский связник, привезший шифр, покончил жизнь самоубийством.

13.3.1945 (16 часов 11 минут)

К Шелленбергу позвонили из группы работы с архивом Бормана.

— Кое-что появилось, — сказали ему, — если вы придете, бригаденфюрер, мы подготовим для вас несколько документов.

— Сейчас буду, — коротко ответил Шелленберг.

Приехав, он, не раздеваясь, подошел к столу и взял несколько листков бумаги.

Пробежав их, он удивленно поднял брови, потом не спеша разделся, бросив пальто на спинку стула, и сел, подломив под себя левую ногу. Документы были действительно в высшей мере интересные. Первый документ гласил: «В день „Х“ подлежат изоляции Кальтенбруннер, Поль,

Шелленберг, Мюллер». Фамилия «Мюллер» была вычеркнута красным карандашом, и Шелленберг отметил это большим вопросительным знаком на маленькой глянцевитой картонке: он держал пачку таких глянцевитых картонок в кармане и на своем столе — для пометок. «Следует предположить, — говорилось далее в документе, — что изоляция вышеназванных руководителей гестапо и СД будет своеобразной акцией отвлечения. Поиски изолированных руководителей, отвечавших за *конкретные* проблемы, будут владеть умами всех тех, кому это будет выгодно: как с точки зрения оперативной, так и в стратегической устремленности».

Далее в документе приводился список на сто семьдесят шесть человек. «Эти офицеры гестапо и СД могут — в той или иной мере — пролить свет не через основные посылы, но через второстепенные детали на узловые вопросы внешней политики рейха. Бесспорно, каждый из них, сам того не зная, является мозаикой — бессмысленной с точки зрения индивидуальной ценности, но бесценной в подборе всех остальных мозаик. Следовательно, эти люди могут оказать помощь врагам рейха, заинтересованным в компрометации идеалов национал-социализма практикой

его строительства. С этой точки зрения операции каждого из перечисленных выше офицеров, будучи собранными воедино, выведут картину, неблагоприятную для рейха. К сожалению, в данном случае невозможно провести строгий водораздел между установками партии и практикой СС, поскольку все эти офицеры являются ветеранами движения, вступившими в ряды НСДАП в период с 1927 по 1935 год. Следовательно, изоляция этих людей также представляется целесообразной и правомочной».

«Понятно, — вдруг осенило Шелленберга. — Он кокетничает, наш партийный лидер. Мы это называем „ликвидацией“. Он это называет „изоляцией“. Значит, меня следует изолировать, а Мюллера сохранить. Собственно, этого я и ожидал. Занятно только, что они оставили в списке Кальтенбруннера. Хотя это можно понять: Мюллер всегда был в тени, его знают только специалисты, а Кальтенбруннер теперь широко известен в мире. Его погубит честолюбие. А меня погубило то, что я хотел быть нужным рейху. Вот парадокс: чем больше ты хочешь быть нужным своему государству, тем больше рискуешь; такие, как я, не имеют права просто унести в могилу государственные тайны, ставшие тайнами

личными. Таких, как я, нужно выводить из жизни — внезапно и быстро… Как Гейдриха. Я-то убежден, что его уничтожили наши…»

Он внимательно просмотрел фамилии людей, внесенных в списки для «изоляции». Он нашел множество своих сотрудников. Под номером 142 был штандартенфюрер СС Штирлиц.

То, что Мюллер был вычеркнут из списков, а Штирлиц оставлен, свидетельствовало о страшной спешке и неразберихе, царившей в партийном архиве. Указание внести коррективы в списки пришло от Бормана за два дня до эвакуации, однако в спешке фамилию Штирлица пропустили. Это и спасло Штирлица — не от «изоляции» доверенными людьми Бормана, но от «ликвидации» людьми Шелленберга…

13.3.1945 (17 часов 02 минуты)

— Что-нибудь случилось? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся в подземелье. — Я отчего-то волновался.

— Правильно делали, — согласился Мюллер. — Я тоже волновался.

— Я вспомнил, — сказал Штирлиц.

— Что именно?

— Откуда на чемодане русской могли быть мои

пальцы… Где она, кстати? Я думал, вы устроите нам свидание. Так сказать, очную ставку.

— Она в больнице. Скоро ее привезут.

— А что с ней случилось?

— С ней-то ничего. Просто, чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с ребенком.

«Врет, — понял Штирлиц. — Он бы не стал сажать меня на растяжку, если бы Кэт заговорила. Он рядом с правдой, но он врет».

— Ладно, время пока терпит.

— Почему «пока»? Время просто терпит.

— Время пока терпит, — повторил Штирлиц. — Если вас действительно интересует эта катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще нескольких седых волос, но правда всегда торжествует — это мое убеждение.

— Радостное совпадение наших убеждений. Валяйте факты.

— Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления на Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, — я там остановился, и мне не разрешили проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и полицейские — молодой, но, видимо, серьезно

больной парень, скорее всего туберкулезник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, — не позволяли мне пройти к телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес подальше от огня несколько чемоданов. Вспомните фотографию чемодана, найденного после бомбежки. Раз. Сопоставьте его обнаружение с адресом, по которому жила радистка, — два. Вызовите полицейских из оцепления, которые видели, как я помогал несчастным переносить их чемоданы, — три. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, дайте мне пистолет с одним патроном: ничем иным свою невиновность я не смогу доказать.

— Хм, — усмехнулся Мюллер. — А что? Давайте попробуем. Сначала послушаем наших немцев, а потом побеседуем с вашей русской.

— С нашей русской! — тоже улыбнулся Штирлиц.

— Хорошо, хорошо, — сказал Мюллер, — не хватайте меня за язык…

Он вышел, чтобы позвонить начальнику школы фюреров полиции оберштурмбаннфюреру СС доктору Хельвигу, а Штирлиц продолжал

анализировать ситуацию: «Даже если они сломали девочку — а он специально сказал про ее сына: они могли мучить маленького, и она бы не выдержала этого, но что-то у них все равно сорвалось, иначе они бы привезли Кэт сюда… Если Плейшнер у них — они бы тоже не стали ждать: в таких случаях промедление глупо, упускаешь инициативу».

— Вас кормили? — спросил Мюллер, вернувшись. — Перекусим?

— Пора бы, — согласился Штирлиц.

— Я попросил принести нам чего-нибудь сверху.

— Спасибо. Вызвали людей?

— Вызвал.

— Вы плохо выглядите.

— Э, — махнул рукой Мюллер. — Хорошо еще, что вообще живу. А почему вы так хитро сказали «пока»? «Пока есть время». Давайте высказывайтесь — чего уж там.

— Сразу после очной ставки, — ответил Штирлиц. — Сейчас нет смысла. Если мою правоту не подтвердят — нет смысла говорить.

Открылась дверь, и охранник принес поднос, покрытый белой крахмальной салфеткой. На подносе стояла тарелка с вареным мясом, хлеб, масло

и два яйца.

— В такой тюрьме, да еще в подвале, я бы согласился поспать денек-другой. Здесь даже бомбежки не слышно.

— Поспите еще.

— Спасибо, — рассмеялся Штирлиц.

— А что? — усмехнулся Мюллер. — Серьезно говорю… Мне нравится, как вы держитесь. Выпить хотите?

— Нет. Спасибо.

— Вообще не пьете?

— Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк.

— Не считайте себя фигурой равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных. Ладно. Как хотите, а я выпью. Чувствую я себя действительно не лучшим образом.

…Мюллер, Шольц и Штирлиц сидели в пустом кабинете следователя Холтоффа — на стульях, поставленных вдоль стены. Оберштурмбаннфюрер Айсман открыл дверь и ввел полицейского в форме.

— Хайль Гитлер! — воскликнул тот, увидав Мюллера в генеральской форме.

Мюллер ничего ему не ответил.

— Вы не знаете никого из этих трех людей? — спросил Айсман полицейского.

— Нет, — ответил полицейский, опасливо покосившись на колодку орденов и рыцарский крест на френче Мюллера.

— Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей?

— Как мне помнится — ни разу не встречался.

— Может быть, вы встречались мельком, во время бомбежки, когда вы стояли в оцеплении, возле разрушенных домов?

— В форме-то приезжали, — ответил полицейский, — много в форме приезжало смотреть развалины. А припомнить конкретно не могу…

— Ну, спасибо. Пригласите войти следующего.

Когда полицейский вышел, Штирлиц сказал:

— Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят.

— Ничего, не собьет, — ответил Мюллер. — Что же мне, сидеть голым?

— Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. — Иначе им трудно вспомнить — они же стоят на улицах по десять часов в день, им все люди кажутся на одно лицо.

— Ладно, — согласился Мюллер, — этого-то вы не помните?

— Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел.

Второй полицейский тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо туберкулезник.

— Вы кого-нибудь видели из этих людей? — спросил Айсман.

— Нет. По-моему, нет…

— Вы стояли в оцеплении на Кепеникштрассе?

— Ах да, да, — обрадовался шуцман, — вот этот господин показывал свой жетон. Я пропустил его к пожарищу.

— Он просил вас пропустить его?

— Нет… Просто он показал свой жетон, он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел… А что? — вдруг испугался шуцман. — Если он не имел права… Я знаю приказ — пропускать всюду людей из гестапо.

— Он имел право, — сказал Мюллер, поднявшись во стула, — он не враг, не думайте. Мы работаем все вместе. Он там что, искал роженицу на пожарище? Он интересовался судьбою несчастной?

— Нет… Ту роженицу увезли еще ночью, а он ехал утром.

— Он искал вещи этой бедной женщины? Вы

помогали ему?

— Нет, — шуцман поморщил лоб, — он там, я помню, перенес коляску какой-то женщине. Детскую коляску. Нет, я не помогал, я был рядом.

— Она стояла возле чемоданов?

— Кто? Коляска?

— Нет. Женщина.

— Вот этого я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы, но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что она рассыпалась, и этот господин собрал ее и отнес к противоположному тротуару.

— Зачем? — спросил Мюллер.

— А там было безопаснее, и пожарники стояли на нашей стороне. А у пожарников шланги, они могли погубить эту колясочку, тогда ребенку было б негде спать, а так женщина потом устроила эту коляску в бомбоубежище, и малыш там спал — я видел…

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы нам очень помогли. Вы свободны.

Когда шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману:

— Остальных освободить.

— Там должен быть еще пожилой, — сказал Штирлиц, — он тоже подтвердит.

— Ладно, хватит, — поморщился Мюллер. —

Достаточно.

— А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня завернули?

— Это мы уже выяснили, — сказал Мюллер. — Шольц, вам все точно подтвердили?

— Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировал со службой уличного движения, уже доставлены.

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы все свободны.

Шольц и Айсман пошли к двери, Штирлиц двинулся следом за ними.

— Штирлиц, я вас задержу еще на минуту, — остановил его Мюллер.

Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на краешек — все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру — и спросил:

— Ну ладно, мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один вопрос: где пастор Шлаг, мой дорогой Штирлиц?

Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал:

— С этого и надо было начинать!

— Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц.

Я понимаю, что вы переволновались, но не следует забывать такт.

— Я позволю себе говорить с вами в открытую.

— Позволите себе? А как — я?

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ложатся на стол рейхсфюрера после того, как их просмотрит Шелленберг. Я понимаю, что вы не можете не выполнять приказов рейхсфюрера. Даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я хочу верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам приказали арестовать этого человека.

Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу, и Штирлиц почувствовал, как внутренне шеф гестапо весь напрягся — он ждал всего, но не этого.

— Почему вы считаете… — начал было он, но Штирлиц снова перебил его:

— Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня — любыми путями, для того чтобы я не мог больше встречаться с партайгеноссе Борманом. Я видел, как вы строили наш сегодняшний день, — в вас было все как обычно, но в вас не было вдохновения, потому что вы понимали, кому выгодно и кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Теперь у меня

нет времени: у меня сегодня встреча с Борманом. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня.

— Где вы встречаетесь с Борманом?

— Возле Музея природоведения.

— Кто будет за рулем? Второй шофер?

— Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом.

— Кто это «мы»?

— Мы — патриоты Германии и фюрера.

— Вы поедете на встречу в моей машине, — сказал Мюллер, — это в целях вашей же безопасности.

— Спасибо.

— В портфель вы положите диктофон и запишете весь разговор с Борманом. И обговорите с ним судьбу шофера. Вы правы: меня вынудили арестовать шофера и применить к нему третью степень устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет ждать вас там же, возле музея.

— Это неразумно, — ответил Штирлиц, быстро прикинув в уме все возможные повороты ситуации. — Я живу в лесу. Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. Борман подвозил меня домой в прошлый раз: если бы шофер признался в этом,

надеюсь, вы бы не мучили меня все эти семь часов.

— А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, — сказал Мюллер, — и ваши муки прекратились бы семь часов назад.

— Если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со многими врагами — здесь, в этом здании.

Уже около двери Штирлиц спросил:

— Кстати, в этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. Почему вы не привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна?

— Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось. Мы обменяемся впечатлениями у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом.

— Хайль Гитлер! — сказал Штирлиц.

— Да ладно вам, — буркнул Мюллер, — у меня и так в ушах звенит…

— Я не понимаю… — словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, остановился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь.

— Бросьте. Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не следует

смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера.

— Вы отдаете себе…

— Да, да! Отдаю себе отчет! Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам никто не поверит, передай вы мои слова, — да вы и не решитесь их никому передавать. Но себе — если вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, — отдайте отчет: Гитлер привел Германию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Да сядьте вы, сядьте… Вы что, думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный от планов рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком, он от агентов требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских германо-американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот о чем подумайте. И объясните вы ему — подумайте только, как это сделать тактичнее, — что без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках — под колпаком союзников. А у Бормана вкладов во сто крат больше, и никто о них не знает. Помогая ему

сейчас, выговаривайте и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит близким, тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, — оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Золото Гиммлера — это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии — это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года… Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение! Сколько вам лет будет к семидесятому? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживете. А вот мне будет

под восемьдесят… Поэтому меня волнуют предстоящие десять лет, и, если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а, наоборот, на меня рассчитывая, попомните: Мюллер-гестапо — старый, уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в активность… И еще — этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните: чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму, в тропики, нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и — попадутся… А когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом — вот тогда отсюда нужно уйти спокойно. И унести тайну золота партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие… И отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал: за пять минут и без всяких фокусов. О Шелленберге мы поговорим сегодня на досуге. Но Борману вы должны сказать, что без моей прямой помощи у вас ничего в Швейцарии не выйдет.

— В таком случае, — медленно ответил Штирлиц, — ему будете нужны вы, а я стану лишним…

— Борман понимает, что один я ничего не сделаю — без вас. Не так-то много у меня своих людей в ведомстве вашего шефа…

Ритм нескольких минут

Услыхав выстрелы на улице, Кэт сразу поняла: случилось страшное. Она выглянула и увидела две черные машины и Гельмута, который корчился посредине тротуара. Она бросилась обратно: ее сын лежал на ящике и тревожно двигался. Девочка, которую она держала на руках, была спокойнее — почмокивала себе во сне. Кэт положила девочку рядом с сыном. Движения ее стали суетливыми, руки дрожали, и она прикрикнула на себя: «А ну, тихо!» «Почему „тихо“, — успела подумать она, отбегая вглубь подвала, — ведь я не кричала…»

Она шла, вытянув вперед руки, в кромешной тьме, спотыкаясь о камни и балки. Так они играли в войну у себя дома с мальчишками. Сначала она была санитаркой, но потом в нее влюбился Эрвин Берцис из шестого подъезда, а он всегда был командиром у красных, и он сначала произвел ее в сестры милосердия, а потом велел называть Катю военврачом третьего ранга. Их штаб помещался в подвале дома на Спасо-Наливковском. Однажды в подвале погас свет. А подвал

был большой, похожий на лабиринт. Начальник штаба заплакал от страха — его звали Игорь, и Эрвин взял его в отряд только потому, что тот был отличником. «Чтобы нас не называли анархистами, — объяснил свое решение Эрвин, — нам нужен хотя бы один примерный ученик. И потом, начальник штаба — какую роль может он играть в нашей войне? Никакой. Будет сидеть в подвале и писать мои приказы. Штабы имели значение у белых, а у красных важен только один человек — комиссар». Когда Игорь заплакал, в подвале стало очень тихо, и Катя почувствовала, как растерялся Эрвин. Она почувствовала это по тому, как он сопел носом и молчал. А Игорь плакал все жалостнее, и вслед за ним начал всхлипывать кто-то еще из работников штаба. «А ну, тихо! — крикнул тогда Эрвин. — Сейчас я выведу вас. Сидеть на местах и не расходиться!» Он вернулся через десять минут, когда снова включили свет. Он был в пыли, с разбитым носом. «Выключим свет, — сказал он, — надо научиться выходить без света — на будущее, когда начнется настоящая война». — «Когда начнется настоящая война, — сказал начальник штаба Игорь, — тогда мы станем сражаться на земле, а не в подвалах». — «А ты молчи. Ты снят с долж-

ности, — ответил Эрвин. — Слезы на войне — это измена! Понял?» Он вывернул лампочку, вывел всех из подвала, и тогда Катя первый раз поцеловала его.

«Он вел нас вдоль по стене, — думала она, — он все время держался руками за стену. Только у него были спички. Нет. У него не было спичек. Откуда у него могли взяться спички? Ему тогда было девять лет, он еще не курил».

Кэт оглянулась: она уже не видела ящика, на котором лежали дети. Она испугалась, что заплутается здесь и не найдет пути назад, а дети там лежат на ящике, и сын вот-вот заплачет, потому что, наверное, у него все пеленки мокрые, и разбудит девочку, и сразу же их голоса услышат на улице. Она заплакала от беспомощности, повернулась и пошла обратно, все время прижимаясь к стене. Она заторопилась и, зацепившись ногой за какую-то трубу, потеряла равновесие. Вытянув вперед руки, зажмурившись, она упала. На какое-то мгновение в глазах у нее зажглись тысячи зеленых огней, а потом она потеряла сознание от острой боли в голове.

…Кэт не помнила, сколько времени она пролежала так: минуту или час. Открыв глаза, она удивилась какому-то странному шуму. Она лежала

левым ухом на ребристом ледяном железе, и оно издавало странный звук, который Кэт впервые услыхала в горах, в ущелье, там, где стеклянно ярился прозрачно-голубой поток. Кэт решила, что у нее звенит в голове от сильного удара. Она подняла лицо, и гул прекратился. Вернее, он стал иным. Кэт хотела подняться на ноги, но вдруг поняла: она упала головой на люк подземной канализации. Она ощупала руками ребристое железо. Эрвин говорил о мощной системе подземных коммуникаций в Берлине. Кэт рванула люк на себя: он не поддавался. Она стала ощупывать ладонями пол вокруг люка и нашла какую-то ржавую железку, поддела ею люк и отбросила его в сторону. Звук, скрытый этим ребристым металлическим люком, такой далекий, сейчас вырвался из глубины.

Они тогда шли по синему ущелью в горах: Гера Сметанкин, Мишаня Великовский, Эрвин и она. Они еще тогда все время пели песню: «Далеко-далеко за морем стоит золотая страна…»

Сначала в ущелье было жарко и остро пахло хвоей: леса там были синие, сплошь хвойные. Очень хотелось пить, оттого что подъем был крутой — по крупной и острой гальке, а воды не было, и все очень удивлялись, ведь по этому

ущелью они должны были выйти на краснополянский снежник, значит, по ущелью должен протекать ручей. Но воды не было, и только ветер шумел в верхушках сосен. А потом галька пошла не белая, иссушенная солнцем, а черная, а еще через десять минут они увидели ручеек в камнях и услыхали далекий шум, а после шли вдоль синего потока, и все кругом грохотало. Они увидели снег, и, когда поднялись на снежник, снова стало тихо, потому что поток, вызванный таянием снегов, был под ними, и они поднимались все выше и выше — в снежную тишину…

Седой сыщик включил фонарик, и острый луч обшарил подвал.

— Слушайте, этих самых СС на радиостанции угрохали из одного пистолета? — спросил он сопровождавших его людей.

Кто-то ответил:

— Я звонил к ним в лабораторию. Данные еще не готовы.

— А говорят, в гестапо все делается за минуту. Тоже мне, болтуны. Ну-ка, взгляните кто-нибудь — у меня глаза плохо видят: это следы или нет?

— Мало пыли… Если бы это было летом…

— Если бы это было летом, и если бы у нас был

доберман-пинчер, и если бы у доберман-пинчера была перчатка той бабы, которая ушла от СС, и если бы он сразу взял след… Ну-ка, это какой окурок?

— Старый. Видно ведь — словно каменный.

— Вы пощупайте, пощупайте! Видно — это видно: в нашем деле все надо щупать… Слава богу, Гюнтер одинокий, а то как бы вы сообщили моей Марии, что я лежу дохлый и холодный на полу в морге?

Подошел третий сыщик: он осматривал весь подвал — нет ли выходов.

— Ну? — спросил седой.

— Там было два выхода. Но они завалены.

— Чем?

— Кирпичом.

— Пыли много?

— Нет. Там, как здесь, — битый камень, какая на нем пыль?

— Значит, никаких следов?

— Какие же следы на битых камнях.

— Пошли посмотрим еще раз — на всякий случай.

Они пошли все вместе, негромко переговариваясь, то и дело выхватывая лучом фонаря из темноты подвала далекие, пыльные уголки,

забитые кирпичами и балками. Седой остановился и достал из кармана сигареты.

— Сейчас, — сказал он, — я только закурю.

Он стоял на металлическом ребристом люке.

Кэт слышала, как у нее над головой стояли полицейские. Она слышала, как они разговаривали. Слов она не разбирала, потому что далеко внизу, под ногами, грохотала вода. Она стояла на двух скобках, а в руках держала детей и все время панически боялась потерять равновесие и полететь с ними вниз, в эту грязную грохочущую воду. А когда она услыхала над головой голоса, она решила: «Если они откроют люк, я шагну вниз. Так будет лучше для всех». Мальчик заплакал. Сначала он завел тоненьким голоском, едва слышно, но Кэт показалось, что он кричит так громко, что все вокруг сразу же его услышат. Она склонилась к нему — так, чтобы не потерять равновесие, и стала тихонько, одними губами, напевать ему колыбельную. Но мальчик, не открывая своих припухлых синеватых век, плакал все громче и громче.

Кэт почувствовала, что у нее немеют ноги. Девочка тоже проснулась, и теперь дети кричали вдвоем. Она уже поняла, что наверху, в подвале, их не слышно: она вспомнила, что шум потока до-

несся до нее, лишь когда она упала на этот самый металлический люк. Но страх мешал ей откинуть люк и вылезти. Она представляла себе до мелочей, как она оттолкнет головой люк, как положит детей на камни и как распрямит руки и отдохнет хотя бы минуту, перед тем как вылезти отсюда. Она оттягивала время по минутам, заставляя себя считать до шестидесяти. Чувствуя, что начинает торопиться, Кэт останавливалась и начинала считать заново. На первом курсе в университете у них был спецсеминар — «Осмотр места происшествия». Она помнила, как их учили обращать внимание на каждую мелочь. Поэтому, наверное, она по-звериному хитро насыпала на крышку люка камней, перед тем как, прижав к себе детей правой рукой, левой поставить крышку на место.

«Сколько прошло времени? — думала Кэт. — Час? Нет, больше. Или меньше? Я ничего не соображаю. Я лучше открою люк, и, если они здесь или оставили засаду, я шагну вниз, и все кончится».

Она уперлась головой в люк, но люк не поддавался. Кэт напрягла ноги и снова толкнула головой люк.

«Они стояли на люке, — поняла она, — поэто-

му так трудно его открыть. Ничего страшного. Старое железо, ржавое, я раскачаю его головой, а потом, если он и тогда не поддастся, я освобожу левую руку, дам ей отдохнуть, подержу детей правой, а левой открою люк. Конечно, открою». Она осторожно передвинула кричащую девочку и хотела было поднять левую руку, но поняла, что сделать этого не может: рука затекла и не слушалась ее.

«Ничего, — сказала себе Кэт. — Это все не страшно. Сейчас руку начнет колоть иголками, а потом она согреется и станет слушаться меня. А правая удержит детей. Они же легонькие. Только бы девочка не очень билась. Она тяжелее моего. Старше и тяжелее…»

Кэт начала осторожно сжимать и разжимать пальцы.

Она вспомнила старика, соседа по даче. Высокий, худой, со странно блестевшими голубыми глазами, он приходил к ним на веранду и презрительно смотрел, как они ели хлеб и масло. «Это же безумие, — говорил он, — колбаса — это яд! Сыр — это яд! Это зловредные выбросы организмов! Хлеб? Это замазка! Надо есть сваренное в календуле мясо! Перец! Капусту! Репу! И в вас войдет вечность! Я могу жить миллион лет!

Да-да, я знаю, вы думаете, что я шарлатан! Нет, я просто позволяю себе думать смелее наших консервативных медиков! Нет болезней! Смешно лечить язву или туберкулез! Надо лечить клетку! Фундамент вечной молодости — это диета, дыхание и психотерапия! Вы умно кормите клетку, основу основ живого, вы мудро даете ей кислород, и вы поддерживаете ее тренингом, вы делаете ее своим союзником во время бесед с ней и с остальными миллиардами клеток, определяющих вашу субстанцию. Поймите, каждый из нас — не слабый человек, живущий во власти случаев и обстоятельств, но вождь многомиллионного клеточного, самого разумного из всех существовавших под солнцем государств! Звездных систем! Галактик! Поймите наконец, кто вы есть! Откройте глаза на самих себя. Научитесь уважать себя и ничего не бойтесь. Все страхи этого мира эфемерны и смешны, если только понять призвание человека — быть человеком!»

Кэт попыталась было разговаривать со своими пальцами. Но дети кричали все громче, и она поняла, что времени на беседы с армией клеток у нее не осталось. Она подняла левую руку, которая все еще была чужой, и начала бесчувственными пальцами скрести люк над головой. Люк

чуть подался. Кэт помогла себе головой, и крышка сдвинулась. Не посмотрев даже, есть ли кто в подвале или нет, Кэт положила детей на пол, вылезла следом за ними и легла рядом — обессиленная, ничего уже толком не понимающая.

— Господа, любезно пообещавшие мне свою помощь, предупредили, что вы имеете возможность каким-то образом связать меня с теми, от кого зависят судьбы миллионов в Германии, — сказал пастор. — Если мы сможем приблизить благородный мир хотя бы на день — нам многое простится в будущем.

— Сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов.

— Пожалуйста. Я готов ответить на все вопросы.

Собеседником пастора был высокий, худощавый итальянец, видимо очень старый, но державшийся вызывающе молодо.

— На все — не надо. Я перестану вам верить, если вы согласитесь отвечать на все вопросы.

— Я не дипломат. Я приехал по поручению…

— Да-да, я понимаю. Мне уже передавали о вас кое-что. Первый вопрос: кого вы представляете?

— Простите, но сначала я должен услышать ваш ответ: кто вы? Я буду говорить о людях,

оставшихся у Гитлера. Им грозит смерть — им и их близким. Вам ничего не грозит, вы в нейтральной стране.

— Вы думаете, в нейтральной стране не работают агенты гестапо? Но это частность, это не имеет отношения к нашей беседе. Я не американец. И не англичанин…

— Я это понял по вашему английскому языку. Вероятно, вы итальянец?

— Да, по рождению. Но я гражданин Соединенных Штатов, и поэтому вы можете говорить со мной вполне откровенно, если верите тем господам, которые помогли нам встретиться.

Пастор вспомнил напутствие Брюнинга. Поэтому он сказал:

— Мои друзья на родине считают — и я разделяю их точку зрения полностью, — что скорейшая капитуляция всех немецких армий и ликвидация всех частей СС спасет миллионы жизней. Мои друзья хотели бы знать: с кем из представителей союзников мы должны вступить в контакт?

— Вы мыслите одновременно капитуляцию всех армий рейха: на западе, востоке, на юге и на севере?

— Вы хотите предложить иной путь?

— У нас разговор протекает в странной мане-

ре: в переговорах заинтересованы немцы, а не мы, поэтому условия предстоит выдвигать нам, не правда ли? Для того чтобы мои друзья смогли вести с вами конкретные разговоры, мы должны знать — как этому учили нас древние — кто? когда? сколько? с чьей помощью? во имя какой цели?

— Я не политик. Может быть, вы правы… Но я прошу верить в мою искренность. Я не знаю всех тех, кто стоит за той группой, которая отправила меня сюда, но я знаю, что человек, представляющий эту группу, достаточно влиятелен.

— Это игра в кошки-мышки. В политике все должно быть оговорено с самого начала. Политики торгуются, потому что для них нет тайн. Они взвешивают — что и почем. Когда они неумело торгуются, их, если они представляют тоталитарное государство, свергают или, если они прибыли из парламентских демократий, прокатывают на следующих выборах. Я бы советовал вам передать вашим друзьям: мы не сядем говорить с ними до тех пор, пока не узнаем, кого они представляют, их программу, в первую голову идеологическую, и те планы, которые они намерены осуществлять в Германии, заручившись нашей помощью.

— Идеологическая программа понятна: она базируется на антинацизме.

— А какой видится будущая Германия вашим друзьям? Куда она будет ориентирована? Какие лозунги вы предложите немцам? Если вы не можете ответить за ваших друзей, мне было бы интересно услышать вашу точку зрения.

— Ни я, ни мои друзья не склонны видеть будущее Германии окрашенным в красный цвет большевизма. Но в такой же мере мне кажется чудовищной мысль о сохранении, хотя бы в видоизмененной форме, того или иного аппарата подавления германского народа, который имеется в Германии сейчас.

— Встречный вопрос: кто сможет удержать германский народ в рамках порядка, в случае если Гитлер уйдет? Люди церкви? Те, кто содержится в концентрационных лагерях? Или реально существующие командиры полицейских частей, решившие порвать с гитлеризмом?

— Полицейские силы подчинены в Германии рейхсфюреру СС Гиммлеру.

— Я слыхал об этом, — улыбнулся собеседник пастора.

— Значит, речь идет о том, чтобы сохранить власть СС, которая, как вы считаете, имеет воз-

можность удержать народ от анархии, в рамках порядка?

— А кто вносит подобное предложение? По-моему, этот вопрос еще нигде не дискутировался, — ответил итальянец и внимательно, первый раз за весь разговор без улыбки, взглянул на пастора.

Пастор испугался. Он понял, что проговорился: этот дотошный итальянец сейчас уцепится и вытащит из него все, что он знает о стенограмме переговоров американцев с СС, которую ему показал Брюнинг. Пастор знал, что врать он не умеет: его всегда выдает лицо.

А итальянец, один из сотрудников бюро Даллеса, вернувшись к себе, долго размышлял, прежде чем сесть за составление отчета о беседе.

«Либо он полный нуль, — думал итальянец, — не представляющий ничего в Германии, либо он тонкий разведчик. Он не умел торговаться, но он не сказал мне ничего. Но его последние слова свидетельствуют о том, что им известно нечто о переговорах с Вольфом».

13.3.1945 (20 часов 24 минуты)

У Кэт не было денег на метро. А ей надо было поехать куда-нибудь, где есть печка и где можно

раздеть детей и перепеленать их. Если она не сделает этого, они погибнут, потому что уже много часов они провели на холоде.

«Тогда уж лучше было все кончать утром, — попрежнему как-то издалека думала Кэт. — Или в люке».

Понятие опасности притупилось в ней: она вышла из подвала и, не оглядываясь, пошла к автобусной остановке. Она не знала толком, куда поедет, как возьмет билет, где оставит, хоть на минуту, детей. Она сказала кондуктору, что у нее нет денег — все деньги остались в разбомбленной квартире. Кондуктор, проворчав что-то, посоветовал ей отправиться в пункт для приема беженцев. Кэт села возле окна. Здесь было не так холодно, и ей сразу же захотелось спать. «Я не засну, — сказала она себе. — Я не имею права спать».

И — сразу же уснула.

Она чувствовала, как ее толкают и теребят за плечо, но никак не могла открыть глаза, ей было тепло, блаженно, и плач детей доносился тоже издалека.

Ей виделось что-то странное, цветное, она подсознательно смущалась безвкусной сентиментальности снов: вот она входит с мальчиком

в какой-то дом по синему толстому ковру, мальчик уже сам идет — с куклой, их встречают Эрвин, мама, сосед по даче, который обещал жить миллион лет…

— Майне даме! — Кто-то толкнул ее сильно — так, что она прикоснулась виском к холодному стеклу. — Майне даме!

Кэт открыла глаза. Кондуктор и полицейский стояли возле нее в темном автобусе.

— Что? — шепотом, прижимая к себе детей, спросила Кэт. — Что?

— Налет, — также шепотом ответил кондуктор. — Пойдемте…

— Куда?

— В бомбоубежище, — сказал полицейский. — Давайте, мы поможем вам нести детей.

— Нет, — сказала Кэт, прижимая к себе детей. — Они будут со мной.

Кондуктор пожал плечами, но промолчал. Полицейский, поддерживая ее под руку, отвел в бомбоубежище. Там было тепло и темно. Кэт прошла в уголок — двое мальчиков поднялись со скамейки, уступив ей место.

— Спасибо.

Она положила детей рядом с собой и обратилась к девушке из гитлерюгенда, дежурной

по убежищу:

— Мой дом разбит, у меня нет даже пеленок, помогите мне! Я не знаю, что делать: погибла соседка, и я взяла с собой ее девочку. А у меня ничего нет…

Девушка кивнула и вскоре вернулась с пеленками.

— Пожалуйста, — сказала она, — здесь четыре штуки, вам должно хватить на первое время. Утром я советовала бы вам обратиться в ближайшее отделение «помощи пострадавшим» — только надо иметь справку из вашего полицейского комиссариата и аусвайс.

— Да, конечно, спасибо вам, — ответила Кэт и начала перепеленывать детей. — Скажите, а воды здесь нет? Воды и печки? Я бы постирала те пеленки, что есть, и у меня было бы восемь штук — на завтра мне бы хватило…

— Холодная вода есть, а мылом, я думаю, вас снабдят. Потом подойдите ко мне, я организую все это.

Когда дети, наевшись, уснули, Кэт тоже притулилась к стене и решила поспать хотя бы полчаса. «Сейчас я ничего не соображаю, — сказала она себе, — у меня жар, я, наверное, простудилась в люке… Нет, они не могли простудиться, потому

что они в одеялах, и ножки у них в тепле. А посплю немного и стану думать, как надо поступать дальше».

И снова какие-то видения, но теперь уже бессвязные, навалились на нее: быстрая смена синего, белого, красного и черного утомляла глаза. Она внимательно наблюдала за этой стремительной сменой красок. «Наверное, у меня двигаются глазные яблоки под веками, — вдруг отчетливо поняла Кэт. — Это очень заметно, так говорил полковник Суздальцев в школе». И она испуганно поднялась со скамейки. Все вокруг дремали: бомбили далеко, лай зениток и уханье бомб слышались как через вату.

«Я должна ехать к Штирлицу, — сказала себе Кэт и удивилась тому, как спокойно она сейчас размышляла — логично и четко. — Нет, — возразил в ней кто-то, — тебе нельзя к нему ехать. Ведь они спрашивали тебя о нем. Ты погубишь и себя, и его».

Кэт снова уснула. Она спала полчаса. Открыв глаза, она почувствовала себя лучше. И вдруг, хотя она и забыла, что думала о Штирлице, вспомнилось совершенно отчетливо: 42-75-41.

— Скажите, — она тронула локтем юношу, который дремал, сидя рядом с ней, — скажите, здесь

нет где-нибудь поблизости телефона?

— Что?! — спросил тот, испуганно вскочив на ноги.

— Тише, тише, — успокоила его Кэт. — Я спрашиваю: нет ли рядом телефона?

Видимо, девушка из гитлерюгенда услыхала шум. Она подошла к Кэт и спросила:

— Вам чем-нибудь помочь?

— Нет-нет, — ответила Кэт. — Нет, благодарю вас, все в порядке.

И в это время завыла сирена отбоя.

— Она спрашивала, где телефон, — сказал юноша.

— На станции метро, — сказала девушка. — Это рядом, за углом. Вы хотите позвонить к знакомым или родственникам?

— Да.

— Я могу посидеть с вашими малышами, а вы позвоните.

— Но у меня нет даже двадцати пфеннигов, чтобы опустить в автомат.

— Я выручу вас. Пожалуйста.

— Спасибо. Это недалеко?

— Две минуты.

— Если они начнут плакать…

— Я возьму их на руки, — улыбнулась девуш-

ка, — не беспокойтесь, пожалуйста.

Кэт выбралась из убежища. Метро было рядом. Лужицы возле открытого телефона-автомата искрились льдом. Луна была полной, голубой, радужной.

— Телефоны не работают, — сказал шуцман. — Взрывной волной испортило.

— А где же есть телефоны?

— На соседней станции… Что, очень надо позвонить?

— Очень.

— Пойдемте.

Шуцман спустился с Кэт в пустое здание метро, открыл дверь полицейской комнаты и, включив свет, кивнул головой на телефонный аппарат, стоявший на столе.

— Звоните, только, пожалуйста, быстро.

Кэт обошла стол, села в высокое кресло и набрала номер 42-75-41. Это был номер Штирлица. Слушая гудки, она не сразу заметила свою большую фотографию, лежавшую под стеклом, возле типографски напечатанного списка телефонов. Шуцман стоял за ее спиной и курил.

Алогизм логики

Штирлиц сейчас ничего не видел, кроме шеи Мюллера. Сильная, аккуратно подстриженная, она почти без всякого изменения переходила в затылок. Штирлиц видел две поперечные складки, которые словно отчеркивали черепную коробку от тела — такого же, впрочем, сбитого, сильного, аккуратного, а потому бесконечно похожего на все тела и черепа, окружавшие Штирлица эти годы в Германии. Порой Штирлиц уставал от ненависти, которую он испытывал к людям, в чьем окружении ему приходилось работать последние двенадцать лет. Сначала это была ненависть осознанная, четкая: враг есть враг. Чем дальше он втягивался в механическую, повседневную работу аппарата СД, тем больше получал возможность видеть процесс изнутри, из святая святых фашистской диктатуры. И его первоначальное видение гитлеризма как единой, устремленной силы постепенно трансформировалось в полное непонимание происходящего: столь алогичны и преступны по отношению к народу были акции руководителей. Об этом гово-

рили между собой не только люди Шелленберга или Канариса — об этом временами осмеливались говорить даже гестаповцы, сотрудники Геббельса и люди из рейхсканцелярии. Стоит ли так восстанавливать против себя весь мир арестами служителей церкви? Так ли необходимы издевательства над коммунистами в концлагерях? Разумны ли массовые казни евреев? Оправдано ли варварское обращение с военнопленными, особенно русскими? Эти вопросы задавали друг другу не только рядовые сотрудники аппарата, но и такие руководители, как Шелленберг, а в последние дни и Мюллер. Но, задавая друг другу подобные вопросы, понимая, сколь пагубна политика Гитлера, они тем не менее этой пагубной политике служили — аккуратно, исполнительно, а некоторые — виртуозно и в высшей мере изобретательно. Они превращали идеи фюрера и его ближайших помощников в реальную политику, в те зримые акции, по которым весь мир судил о рейхе.

Лишь только выверив свое убеждение в том, что политику рейха сплошь и рядом делают люди, критически относящиеся к изначальным идеям этой политики, Штирлиц понял, что им овладела иная ненависть к этому государству —

не та, что была раньше, а яростная, подчас слепая. В подоплеке этой слепой ненависти была любовь к народу, к немцам, среди которых он прожил эти долгие двенадцать лет. «Введение карточной системы? — В этом виноваты Кремль, Черчилль и евреи. Отступили под Москвой? — В этом виновата русская зима. Разбиты под Сталинградом? — В этом повинны изменники-генералы. Разрушены Эссен, Гамбург и Киль? — В этом виноват вандал Рузвельт, идущий на поводу у американской плутократии». И народ верил этим ответам, которые ему готовили люди, не верившие ни в один из этих ответов. Цинизм был возведен в норму политической жизни, ложь стала необходимым атрибутом повседневности. Появилось некое новое, невиданное раньше понятие правдолжи, когда, глядя друг другу в глаза, люди, знающие правду, говорили один другому ложь, опять-таки точно понимая, что собеседник принимает эту необходимую ложь, соотнося ее с известной ему правдой. Штирлиц возненавидел тогда безжалостную французскую пословицу: «Каждый народ заслуживает своего правительства». Он рассуждал: «Это национализм навыворот. Это оправдание возможного рабства и злодейства. Чем виноват народ, дове-

денный Версалем до голода, нужды и отчаяния? Голод рождает своих „трибунов“ — Гитлера и всю остальную банду».

Штирлиц одно время сам боялся этой своей глухой, тяжелой ненависти к «коллегам». Среди них было немало наблюдательных и острых людей, которые умели смотреть в глаза и понимать молчание.

Он благодарил Бога, что вовремя «замотивировал» болезнь глаз, и поэтому почти все время ходил в дымчатых очках, хотя поначалу ломило в висках и раскалывалась голова — зрение-то у него было отменное.

«Сталин прав, — думал Штирлиц. — Гитлеры приходят и уходят, а немцы остаются. Но что с ними будет, когда уйдет Гитлер? Нельзя же надеяться на танки — наши и американские, которые не позволят возродить нацизм в Германии? Ждать, пока вымрет поколение моих „товарищей“ — и по работе, и по возрасту? Вымирая, это поколение успеет растлить молодежь, детей своих, бациллами оправданной лжи и вдавленного в сердца и головы страха. Выбить поколение? Кровь рождает новую кровь. Немцам нужно дать гарантии. Они должны научиться пользоваться свободой. А это, видимо, самое сложное: научить

народ, целый народ, пользоваться самым дорогим, что отпущено каждому, — свободой, которую надежно гарантирует закон…»

Одно время Штирлицу казалось, что массовое, глухое недовольство аппарата при абсолютной слепоте народа, с одной стороны, и фюрера — с другой, вот-вот обернется путчем партийной, гестаповской и военной бюрократии. Этого не случилось, потому что каждая из трех этих групп бюрократов преследовала свои интересы, свои личностные выгоды, свои маленькие цели. Как и фюрер, Гиммлер, Борман, они клялись рейхом и германской нацией, но интересовали их только они сами, только собственное «я»; чем дальше они отрывались от интересов и нужд простых людей, тем больше эти нужды и интересы становились для них абстрактными понятиями. И чем дольше «народ безмолвствовал», тем чаще Штирлиц слышал от своих «коллег»: «Каждая нация заслуживает своего правительства». Причем говорилось об этом с юмором, спокойно, временами издевательски.

«Временщики — они живут своей минутой, а не днем народа. Нет, — думал Штирлиц, — никакого путча они не устроят. Не люди они, а мыши. И погибнут, как мыши, — каждый в своей норе…»

...Мюллер, сидевший в любимом кресле Штирлица, возле камина, спросил:

— А где разговор о шофере?

— Не уместился. Я же не мог остановить Бормана: «Одну минуту, я перемотаю пленку, партайгеноссе Борман!» Я сказал ему, что мне удалось установить, будто вы, именно вы приложили максимум усилий для спасения жизни шофера.

— Что он ответил?

— Он сказал, что шофер, вероятно, сломлен после пыток в подвалах и он больше не может ему верить. Этот вопрос его не очень интересовал. Так что у вас развязаны руки, обергруппенфюрер. На всякий случай подержите шофера у себя, и пусть его как следует покормят. А там видно будет.

— Вы думаете, им больше не будут интересоваться?

— Кто?

— Борман.

— Смысл? Шофер — отработанный материал. На всякий случай я бы подержал его. А вот где русская «пианистка»? Она бы сейчас очень нам пригодилась. Как там у нее дела? Ее уже привезли из госпиталя?

— Каким образом она могла бы нам пригодить-

ся? То, что ей надлежит делать в радиоигре, она будет делать, но…

— Это верно, — согласился Штирлиц. — Это, бесспорно, очень все верно. Но только представьте себе, если бы удалось каким-то образом связать ее с Вольфом в Швейцарии. Нет?

— Утопия.

— Может быть. Просто я позволяю себе фантазировать.

— Да и потом, вообще…

— Что?

— Ничего, — остановил себя Мюллер, — просто я анализировал ваше предложение. Я перевез ее в другое место, пусть с ней работает Рольф.

— Он перестарался?

— Да… Несколько перестарался…

— И поэтому его убили? — негромко спросил Штирлиц. Он узнал об этом, когда шел по коридорам гестапо, направляясь на встречу с Борманом.

— Это — мое дело, Штирлиц. Давайте уговоримся: то, что вам надо знать, — вы от меня знать будете. Я не люблю, когда подсматривают в замочную скважину.

— С какой стороны? — спросил Штирлиц жестко. — Я не люблю, когда меня держат за болвана в старом польском преферансе. Я игрок, а не

болван.

— Всегда? — улыбнулся Мюллер.

— Почти.

— Ладно. Обговорим и это. А сейчас давайте-ка прослушаем еще раз этот кусочек…

Мюллер нажал кнопку «стоп», оборвавшую слова Бормана, и попросил:

— Отмотайте метров двадцать.

— Пожалуйста. Я заварю еще кофе?

— Заварите.

— Коньяку?

— Я его терпеть не могу, честно говоря. Вообще-то, я пью водку. Коньяк ведь с дубильными веществами, это для сосудов плохо. А водка просто греет, настоящая крестьянская водка.

— Вы хотите записать текст?

— Не надо. Я запомню. Тут любопытные повороты…

Штирлиц включил диктофон.

«Борман. Знает ли Даллес, что Вольф представляет Гиммлера?

Штирлиц. Думаю, что догадывается.

Борман. „Думаю“ – в данном случае не ответ. Если бы я получил точные доказательства, что он расценивает Вольфа

как представителя Гиммлера, тогда можно было бы всерьез говорить о близком развале коалиции. Возможно, они согласятся иметь дело с рейхсфюрером, тогда мне необходимо получить запись их беседы. Сможете ли вы добыть такую пленку?

Штирлиц. Сначала надо получить от Вольфа уверения в том, что он выступает как эмиссар Гиммлера.

Борман. Почему вы думаете, что он не дал таких заверений Даллесу?

Штирлиц. Я не знаю. Просто я высказываю предположение. Пропаганда врагов третирует рейхсфюрера, они считают его исчадием ада. Они скорее всего постараются обойти вопрос о том, кого представляет Вольф. Главное, что их будет интересовать, – кого он представляет в плане военной силы.

Борман. Мне надо, чтобы они узнали, кого он представляет, от самого Вольфа. Именно от Вольфа… Или, в крайнем случае, от вас…

Штирлиц. Смысл?

Борман. Смысл? Смысл очень большой,

Штирлиц. Поверьте мне, очень большой.

Штирлиц. Чтобы проводить операцию, мне надо понимать ее изначальный замысел. Этого можно было бы избежать, если бы я работал вместе с целой группой, когда каждый приносит шефу что-то свое и из этого обилия материалов складывается точная картина. Тогда мне не следовало бы знать генеральную задачу: я бы выполнял свое задание, отрабатывал свой узел. К сожалению, мы лишены такой возможности.

Борман. Как вы думаете, обрадуется Сталин, если позволить ему узнать о том, что западные союзники ведут переговоры не с кем-то, а именно с вождем СС Гиммлером? Не с группой генералов, которые хотят капитулировать, не с подонком Риббентропом, который совершенно разложился и полностью деморализован, но с человеком, который сможет из Германии сделать стальной барьер против большевизма?

Штирлиц. Я думаю, Сталин не обрадуется, узнав об этом.

Борман. Сталин не поверит, если

об этом ему сообщу я. А что, если об этом ему сообщит враг национал-социализма? Например, ваш пастор? Или кто-либо еще…

Штирлиц. Вероятно, кандидатуры следует согласовать с Мюллером. Он может подобрать и устроить побег стоящему человеку.

Борман. Мюллер то и дело старается сделать мне любезность.

Штирлиц. Насколько мне известно, его положение крайне сложное: он не может играть ва-банк, как я, – он слишком заметная фигура. И потом, он подчиняется непосредственно Гиммлеру. Если понять эту сложность, я думаю, вы согласитесь, что никто иной, кроме него, не выполнит эту задачу, в том случае если он почувствует вашу поддержку.

Борман. Да, да… Об этом – потом. Это – деталь. О главном: ваша задача – не срывать переговоры, а помогать переговорам. Ваша задача – не затушевывать связь бернских заговорщиков с Гиммлером, а выявлять эту связь. Выявлять в такой мере, чтобы скомпрометировать

ею Гиммлера в глазах фюрера, Даллеса – в глазах Сталина, Вольфа – в глазах Гиммлера.

Штирлиц. Если мне понадобится практическая помощь, с кем мне можно контактовать?

Борман. Выполняйте все приказы Шелленберга, это – залог успеха. Не обходите посольство, это их будет раздражать: советник по партии будет знать о вас.

Штирлиц. Я понимаю. Но, возможно, мне понадобится помощь против Шелленберга. Эту помощь мне может оказать только один человек – Мюллер. В какой мере я могу опираться на него?

Борман. Я не очень верю слишком преданным людям. Я люблю молчунов…»

В это время зазвонил телефон. Штирлиц заметил, как Мюллер вздрогнул.

— Простите, обергруппенфюрер, — сказал он и снял трубку: — Штирлиц…

И он услыхал в трубке голос Кэт.

— Это я, — сказала она. — Я.

— Да! — ответил Штирлиц. — Слушаю вас, партайгеноссе. Где вас ждать?

— Это я, — повторила Кэт.

— Как лучше подъехать? — снова помогая ей, сказал Штирлиц, указывая Мюллеру пальцем на диктофон, — мол, Борман.

— Я в метро… Я в полиции…

— Как? Понимаю. Слушаю вас. Куда мне подъехать?

— Я зашла позвонить в метро…

— Где это?

Он выслушал адрес, который назвала Кэт, потом еще раз повторил: «Да, партайгеноссе» — и положил трубку. Времени для раздумья не было. Если его телефон продолжали слушать, то данные Мюллер получит лишь под утро. Хотя скорее всего Мюллер снял прослушивание: он достаточно много сказал Штирлицу, чтобы опасаться его. Там видно будет, что предпринять дальше. Главное — вывезти Кэт. Он уже знает многое, остальное можно додумать. Теперь — Кэт.

Она осторожно опустила трубку и взяла свой берет, которым накрыла то место на столе, где под стеклом лежало ее фото. Шуцман по-прежнему не смотрел на нее. Она шла к двери, словно неживая, опасаясь окрика за спиной. Но люди из гестапо уведомили полицию, что хватать следует женщину молодую, двадцати пяти лет,

с ребенком на руках. А тут была седая баба лет сорока, и детей у нее на руках не было, а то, что глаза похожи, — так сколько таких похожих глаз в мире?

— Может, вы подождете меня, обергруппенфюрер?

— А Шольц побежит докладывать Гиммлеру, что я отсутствовал неизвестно где больше трех часов? В связи с чем этот звонок? Вы не говорили мне о том, что он должен звонить.

— Вы слышали — он просил срочно приехать…

— Сразу после беседы с ним — ко мне.

— Вы считаете, что Шольц работает против вас?

— Боюсь, что начал. Он глуп, я всегда держал исполнительных и глупых секретарей. Но оказывается, они хороши в дни побед, а на грани краха они начинают метаться, стараясь спасти себя. Дурачок, он думает, что я хочу погибнуть героем… А рейхсфюрер хорош: он так конспирирует свои поиски мира, что даже мой Шольц смог понять это… Шольца не будет: дежурит какой-то фанатичный мальчик — он к тому же пишет стихи…

Через полчаса Штирлиц посадил в машину Кэт. Еще полчаса он мотался по городу, наблюдая,

нет ли за ним «хвоста», и слушал Кэт, которая плача рассказывала ему о том, что случилось с ней сегодня. Слушая ее, он старался разгадать, было ли ее поразительное освобождение частью дьявольской игры Мюллера, или произошел тот случай, который известен каждому разведчику и который бывает только раз в жизни.

Он мотался по городу, потом поехал по дорогам, окружавшим Берлин. В машине было тепло, Кэт сидела рядом, а дети спали у нее на коленях, и Штирлиц продолжал рассуждать: «Попадись я теперь, если Мюллер все-таки получит данные о разговоре с женщиной, а не с Борманом, я провалю все. И у меня уже не будет возможности сорвать игру Гиммлера в Берне. А это обидно, ибо я теперь возле цели».

Штирлиц затормозил возле дорожного указателя: до Рубинерканала было три километра. Отсюда можно добраться до Бабельсберга через Потсдам.

«Нет, — решил Штирлиц. — Судя по тому, как были перепутаны местами чашки на кухне, днем у меня сидели люди Мюллера. Кто знает, может быть — для моей же „безопасности“, — они вернутся туда по указанию Мюллера, особенно после этого звонка».

— Девочка, — сказал он, резко затормозив, — перебирайся назад.

— А что случилось?

— Ничего не случилось. Все в порядке, маленькая. Теперь все в полном порядке. Теперь мы с тобой победители. Нет? Закрой окна синими шторками и спи. Печку я не буду выключать. Я запру тебя — в моей машине тебя никто не тронет.

— И куда мы едем?

— Недалеко, — ответил Штирлиц. — Не очень далеко. Спи спокойно. Тебе надо отоспаться — завтра будет очень много хлопот и волнений…

— Каких волнений? — спросила Кэт, усаживаясь удобнее на заднем сиденье.

— Приятных, — ответил Штирлиц и подумал: «С ней будет очень трудно. У нее шок, и в этом ее винить нельзя».

Он остановил машину, не доезжая трех домов до особняка Вальтера Шелленберга.

«Только бы он был дома, — повторял, как заклинание, Штирлиц, — только бы он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хохенлихен к Гебхардту, только бы он был дома».

Шелленберг был дома.

— Бригаденфюрер, — сказал Штирлиц, не раздеваясь. Он присел на краешек стула напротив

Шелленберга, который был в теплом халате и в шлепанцах, надетых на босу ногу. Штирлиц отметил для себя — совершенно непроизвольно, — какая у него нежная матовая кожа на щиколотках. — Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии.

— Вы с ума сошли, — сказал Шелленберг, — этого не может быть…

— Мюллер мне предложил на него работать.

— А почему это Мюллер предложил именно вам?

— Наверное, его люди вышли на пастора; это наше спасение, и я должен ехать в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны дезавуировать Вольфа.

— Поезжайте в Берн, немедленно…

— А документы? Или воспользоваться «окном»?

— Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслуживаться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы. Я позвоню.

— Не надо. Напишите.

— У вас есть перо?

— Лучше, если вы сделаете это своим.

Шелленберг потер лицо ладонями и сказал, заставив себя рассмеяться:

— Я еще не проснулся — вот в чем дело.

14.3.1945 (06 часов 32 минуты)

Штирлиц гнал машину к границе, имея в кармане два паспорта: на себя и свою жену фрау Ингрид фон Кирштайн.

Когда пограничный шлагбаум Германии остался позади, он обернулся к Кэт и сказал:

— Ну вот, девочка. Считай что все.

Здесь, в Швейцарии, небо было ослепительное и высокое. В нескольких десятках метров за спиной небо было такое же бездонное, и так же в нем угадывался размытый утренним светом желтый диск луны, и так же в этом желто-голубом небе стыли жаворонки, и так же оно было прекрасно — но это было небо Германии, где каждую минуту могли показаться белые, ослепительно красивые самолеты союзников, и от них каждую секунду могли отделиться бомбы, и бомбы эти, несшие смерть земле, в первое мгновение — в лучах солнца — казались бы алюминиево-белыми, и казалось бы тем, кто, затаившись на земле, наблюдал за ними, что падают они точно в переносицу и потом лишь исчезают, прежде чем

подняться фонтаном черной весенней придорожной хляби, поскольку скорость, сообщенная им смертоносной массой, вырывала их из поля видения человеческого глаза — пока еще живого, но уже беспомощного, обреченного…

Штирлиц гнал машину в Берн. Проезжая маленький городок, он притормозил у светофора: мимо шли дети и жевали бутерброды. Кэт заплакала.

— Что ты? — спросил Штирлиц.

— Ничего, — ответила она, — просто я увидела мир, а он его никогда не увидит…

— Зато для маленького все страшное теперь кончилось, — повторил Штирлиц, — и для девоньки тоже…

Ему хотелось сказать Кэт что-то очень нежное и тихое, он не знал, как это, переполнявшее его, выразить словами. Сколько раз он произносил такие нежные, тихие, трепетные слова про себя — Сашеньке… Непроизнесенное слово, повторяемое многократно, обязано либо стать стихом, либо умереть, превратившись в невзрываемый, внутренний, постоянно ощущаемый груз.

— Надо думать только о будущем, — сказал Штирлиц и сразу же понял, какую неуклюжую и совсем ненужную фразу сказал он.

— Без прошлого нет будущего, — ответила Кэт и вытерла глаза, — прости меня… Я знаю, как это тяжело — утешать плачущую женщину…

— Ничего… Плачь… Главное, теперь все для нас кончено, все — позади…

Благие намерения

Он ошибся. Встретившись в Берне с пастором Шлагом, он понял, что ничего еще не кончилось. Наоборот, он понял: все еще только начинается. Он понял это, познакомившись с записью беседы, состоявшейся между Даллесом и агентом СС Гогенлоэ. Эту запись пастор получил через людей бывшего канцлера Брюнинга. Враги говорили как друзья, и внимание их было сосредоточено, в частности, на «русской опасности».

«*АЛЕКСУ*. В дополнение к отправленным материалам о переговорах Даллес – Вольф.

Препровождая при сем копию беседы Даллеса с полковником СС князем Гогенлоэ, считаю необходимым высказать следующие соображения:

1. Как мне кажется, Даллес не информирует полностью свое правительство о контактах с СС. Видимо, он информирует свое правительство о контактах с „противниками“ Гитлера. К таким ни Гогенлоэ, ни Вольф не относятся.

2. Рузвельт неоднократно заявлял о том, что цель Америки, как и всех участников антигитлеровской коалиции, – безоговорочная капитуляция Германии. Однако Даллес, как это явствует из записи беседы, говорил о компромиссе, даже о сохранении определенных институтов гитлеризма.

3. Всякая коалиция предполагает честность участников союза по отношению друг к другу. Допуская на минуту мысль, что Даллес прощупывал немцев, ведя подобного рода беседу, я вынужден опровергнуть себя, поскольку всякому разведчику будет очевидна выгода немцев и проигрыш Даллеса: то есть немцы узнали больше о позиции Америки, чем Даллес о позициях и намерениях Гитлера.

4. Я допустил также мысль, что разведчик Даллес начал „провокацию“ с немцами. Но в прессе Швейцарии его открыто называют личным представителем президента. Может ли это быть, чтобы „провокацию“ организовывал человек, являющийся личным предста-

вителем Рузвельта?

Вывод: либо определенные круги Запада начали вести двойную игру, либо Даллес близок к предательству интересов США как одного из членов антигитлеровской коалиции.

Рекомендация: необходимо дать знать союзникам, что наша сторона информирована о переговорах, происходящих в Швейцарии. Рассчитываю в ближайшее же время передать через налаженную связь новые подробности бесед, которые имеют здесь место между Вольфом и Даллесом. Впрочем, я бы не считал это беседами – в том плане, какой известен дипломатии. Я бы называл это сепаратными переговорами. Ситуация сложилась критическая, и необходимы срочные меры, которые позволят спасти антигитлеровскую коалицию от провокаций, возможно в конечном счете двусторонних. *ЮСТАС*».

После того как это экстренное донесение было отправлено в Центр, Штирлиц уехал к озеру — в тишину и одиночество. Ему было сейчас,

как никогда, плохо; он чувствовал себя опустошенным, обобранным.

Он-то помнил, какое страшное ощущение пережил в сорок первом году двадцать второго июня — весь тот день, пока молчал Лондон. И он помнил, какое громадное облегчение испытал он, услышав речь Черчилля. Несмотря на самые тяжелые испытания, выпавшие на долю Родины летом сорок первого года, Штирлиц был убежден, причем отнюдь не фанатично, но логически выверенно, в том, что победа — как бы ни был труден путь к ней — неминуема. Ни одна держава не выдерживала войны на два фронта.

Последовательность целей — удел гения, действия которого подчинены логике. А бесконтрольная маниакальность фюрера, жившего в мире созданных им иллюзий, обрекла германскую нацию на трагедию.

Вернувшись из Кракова, Штирлиц был на приеме в румынском посольстве. Обстановка торжественная; лица гостей светились весельем, тускло мерцали тяжелые ордена генералов, искрилось сладковатое румынское вино, сделанное по рецептам Шампани, произносились торжественные речи, в которых утверждалась непобедимость германо-румынского военного

содружества, а Штирлиц чувствовал себя здесь словно в дешевом балагане, где люди, дорвавшиеся до власти, разыгрывают феерию жизни, не чувствуя, что сами-то они уже нереальны и обречены. Штирлиц считал, что Германия, зажатая между Советским Союзом и Великобританией, а в недалеком будущем и Штатами — Штирлиц верил в это, — подписала себе смертный приговор.

Для Штирлица было едино горе Минска, Бабьего Яра или Ковентри: те, кто сражался против гитлеризма, были для него братьями по оружию. Дважды — на свой страх и риск — он спасал английских разведчиков в Голландии и Бельгии без всяких на то указаний или просьб. Он спасал своих товарищей по борьбе, он просто-напросто выполнял свой солдатский долг.

Он испытывал гордость за ребят Эйзенхауэра и Монтгомери, когда они пересекли Ла-Манш и спасли Париж; он был счастлив, когда Сталин пришел на помощь союзникам во время гитлеровского наступления в Арденнах. Он верил, что теперь этот наш громадный и крохотный мир, уставший от войн, предательств, смертей и вражды, наконец обретет долгий и спокойный мир и дети забудут картонное шуршание светомаскировок, а взрослые — маленькие гробики.

Штирлиц не хотел верить в возможность сепаратного сговора гитлеровцев с союзниками, в каком бы виде он ни выражался, до тех пор пока сам лицом к лицу не столкнулся с этим заговором.

Штирлиц мог понять, что толкало к этому сговору Шелленберга и всех, кто был за ним: спасение жизней, страх перед ответственностью — и все эти чисто личные мотивы маскировались высокими словами о спасении западной цивилизации и противостоянии большевистским ордам. Все это Штирлиц понимал и считал действия Шелленберга разумными и единственно для нацистов возможными. Но он не мог понять, сколько ни старался быть объективным, позицию Даллеса, который самим фактом переговоров заносил руку на единство союзников.

«А если Даллес не политик и даже не политикан? — продолжал рассуждать Штирлиц. Он сидел на скамейке возле озера, сгорбившись, надвинув на глаза кепи, острее, чем обычно, ощущая свое одиночество. — А что, если он попросту рисковый игрок? Можно, конечно, не любить Россию и бояться большевиков, но ведь он обязан понимать, что сталкивать Америку с нами — это значит обрекать мир на такую страшную войну,

какой еще не было в истории человечества. Неужели зоологизм ненависти так силен в людях того поколения, что они смотрят на мир глазами застаревших представлений? Неужели дряхлые политиканы и старые разведчики смогут столкнуть лбами нас с американцами?»

Штирлиц поднялся — ветер с озера был пронизывающий; он почувствовал озноб и вернулся в машину.

Он поехал в пансионат «Вирджиния», где остановился профессор Плейшнер; тот написал об этом в открытке: «Вирджинский табак здесь отменно хорош». В «Вирджинии» было пусто: почти все постояльцы уехали в горы. Кончался лыжный сезон, загар был в эти недели каким-то особенным, красно-бронзовым, и долго держался, поэтому все, имевшие мало-мальскую возможность, отправлялись в горы: там еще лежал снег.

— Могу я передать профессору из Швеции, я запамятовал его имя, несколько книг? — спросил он портье.

— Профессор из Швеции сиганул из окна и умер.

— Когда?

— Третьего дня, кажется, утром. Пошел такой, знаете ли, веселый и — не вернулся.

— Какая жалость!.. А мой друг, тоже ученый, просил передать ему книги. И забрать те, которые были у профессора.

— Позвоните в полицию. Там все его вещи. Они отдадут ваши книги.

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — я так и сделаю.

Он проехал по улице, где находилась явка. На окне стоял цветок — сигнал тревоги. Штирлиц все понял. «А я считал его трусом», — вспомнил он. Он вдруг представил себе, как профессор выбросился из окна — маленький, тщедушный и тихий человек. Он подумал: какой же ужас испытал он в свои последние секунды, если решился покончить с собой здесь, на свободе, вырвавшись из Германии. Конечно, за ним шло гестапо. Или они устроили ему самоубийство, поняв, что он будет молчать?..

15.3.1945 (18 часов 19 минут)

Как только Кэт с детьми уснула в номере отеля, Штирлиц, приняв две таблетки кофеина — он почти совсем не спал эти дни, — поехал, предварительно созвонившись, на встречу с пастором Шлагом.

Пастор спросил:

— Утром я не смел говорить о своих. А теперь я не могу не говорить о них: что с сестрой?

— Вы помните ее почерк?

— Конечно.

Он протянул пастору конверт. Шлаг прочитал маленькую записку: «Дорогой брат, спасибо за ту великодушную заботу, которую ты о нас проявил. Мы теперь живем в горах и не знаем, что такое ужас бомбежек. Мы живем в крестьянской семье, дети помогают ухаживать за коровами; мы сыты и чувствуем себя в полной безопасности. Молим Бога, чтобы несчастья, обрушившиеся на твою голову, скорее кончились. Твоя Анна».

— Какие несчастья? — спросил пастор. — О чем она?

— Мне пришлось сказать ей, что вы арестованы… Я был у нее не как Штирлиц, но как ваш прихожанин. Здесь адрес: когда все кончится, вы их найдете. Вот фотография — это вас должно убедить окончательно.

Штирлиц протянул пастору маленькое контактное фото: он сделал несколько кадров в горах, но было пасмурно, поэтому качество снимка было довольно посредственным. Пастор долго рассматривал фото, а после сказал:

— В общем-то, я верю вам даже и без этой фото-

графии… Что вы так осунулись?

— Бог его знает. Устал несколько. Ну? Какие еще новости?

— Новости есть, а вот дать им оценку я не в силах. Либо надо перестать верить всему миру, либо надо сделаться циником. Американцы начали переговоры с СС. Они поверили Гиммлеру.

— Какими вы располагаете данными? От кого вы их получили? Какие у вас есть документы? В противном случае, если вы пользуетесь лишь одними слухами, мы можем оказаться жертвами умело подстроенной лжи.

— Увы, — ответил пастор, — я бы очень хотел верить, что американцы не ведут переговоров с людьми Гиммлера. Но вы читали то, что я уже передал вам. А теперь это… — И он протянул Штирлицу несколько листков бумаги, исписанных убористым, округлым почерком.

«**Вольф.** Здравствуйте, господа.

Голоса. Здравствуйте, добрый день.

Даллес. Мои коллеги прибыли сюда для того, чтобы возглавить переговоры.

Вольф. Очень рад, что наши переговоры пойдут в столь представительном варианте.

Геверниц. Это сложно перевести на английский – „представительный вариант“…

Вольф *(смеясь).* Я смог установить хотя бы, что господин Геверниц на этой встрече исполняет роль переводчика.

Даллес. Я думаю, пока что нет нужды называть подлинные имена моих коллег. Однако могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление то обстоятельство, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований.

Вольф. Мои личные требования – мир для немцев.

Незнакомый голос. Это ответ солдата!

Даллес. Что нового произошло у вас за это время?

Вольф. Кессельринг вызван в ставку фюрера. Это самая неприятная новость.

Даллес. Вы предполагаете…

Вольф. Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера.

Даллес. А по нашим данным, Кессельринг отозван в Берлин для того, чтобы

получить новое назначение: командующий Западным фронтом.

Вольф. Я слышал об этом, но данные пока что не подтвердились.

Даллес. Подтвердятся. В самое ближайшее время.

Вольф. В таком случае, может быть, вы назовете мне преемника Кессельринга?

Даллес. Да. Я могу назвать его преемника. Это генерал-полковник Виттинхоф.

Вольф. Я знаю этого человека.

Даллес. Ваше мнение о нем?

Вольф. Исполнительный служака.

Даллес. По-моему, ныне такую характеристику можно дать подавляющему большинству генералов вермахта.

Вольф. Даже Беку и Роммелю?

Даллес. Это были истинные патриоты Германии.

Вольф. Во всяком случае, у меня прямых контактов с генералом Виттинхофом не было.

Даллес. А у Кессельринга?

Вольф. Как заместитель Геринга по люфтваффе, фельдмаршал имел прямой контакт почти со всеми военачаль-

никами ранга Виттинхофа.

Даллес. А как бы вы отнеслись к нашему предложению отправиться к Кессельрингу и попросить его капитулировать на Западном фронте, предварительно получив согласие Виттинхофа на одновременную капитуляцию в Италии?

Вольф. Это рискованный шаг.

Даллес. Разве мы все не рискуем?

Незнакомый голос. Во всяком случае, ваш контакт с Кессельрингом на Западном фронте помог бы составить ясную и конкретную картину: пойдет он на капитуляцию или нет.

Вольф. Он согласился на это в Италии, почему он изменит свое решение там?

Даллес. Когда вы сможете посетить его на Западном фронте?

Вольф. Меня вызывали в Берлин, но я отложил поездку, поскольку мы условились о встрече…

Даллес. Следовательно, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращении в Италию?

Вольф. Да. В принципе это возможно… Но…

Даллес. Я понимаю вас. Действительно, вы очень рискуете, вероятно, значительно больше всех нас. Однако иного выхода в создавшейся ситуации я не вижу.

Незнакомый голос. Выход есть.

Геверниц. Вы инициатор переговоров, но вы, вероятно, пользуетесь определенной поддержкой в Берлине. Это позволит вам найти повод для визита к Кессельрингу.

Даллес. Если прежде всего вас волнует судьба Германии, то в данном случае она, в определенной мере, находится в наших руках.

Вольф. Конечно, этот довод не может оставить меня равнодушным.

Даллес. Можно считать, что вы отправитесь на Западный фронт к Кессельрингу?

Вольф. Да.

Даллес. И вам кажется возможным склонить Кессельринга к капитуляции?

Вольф. Я убежден в этом.

Даллес. Следовательно, генерал Виттинхоф последует его примеру?

Вольф. После того, как я вернусь в Ита-

лию.

Геверниц. И в случае каких-либо колебаний Виттинхофа вы сможете повлиять на события здесь?

Вольф. Да. Естественно, в случае надобности вам будет необходимо встретиться с генералом Виттинхофом: здесь или в Италии.

Даллес. Если вам покажется это целесообразным, мы пойдем на такой контакт с Виттинхофом. Когда можно ждать вашего возвращения от Кессельринга?

Вольф. Я стучу по дереву.

Даллес. Я стучу по дереву.

Незнакомый голос. Мы стучим по дереву.

Вольф. Если все будет хорошо, я вернусь через неделю и привезу вам и Виттинхофу точную дату капитуляции войск рейха на западе. К этому часу капитулирует наша группа в Италии.

Геверниц. Скажите, сколько заключенных томятся в ваших концлагерях?

Вольф. В концлагерях рейха в Италии находится несколько десятков тысяч человек.

Даллес. Что с ними должно произойти в ближайшем будущем?

Вольф. Поступил приказ уничтожить их.

Геверниц. Этот приказ может быть приведен в исполнение за время вашего отсутствия?

Вольф. Да.

Даллес. Можно предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить исполнения этого приказа?

Вольф. Полковник Дольман останется вместо меня. Я верю ему как себе. Даю вам слово джентльмена, что этот приказ исполнен не будет.

Геверниц. Господа, пойдемте на террасу, я вижу, готов стол. Там будет приятнее продолжать беседу, здесь слишком душно...»

16.3.1945 (23 часа 28 минут)

Ночью Кэт с детьми уезжала в Париж. Вокзал был пустынный, тихий. Лил дождь. Сонно попыхивал паровоз. На мокром асфальте расплывчато змеились отражения фонарей. Кэт все время плакала, потому что только сейчас, когда спало

страшное напряжение этих дней, в глазах ее, не исчезая ни на минуту, стоял Эрвин. Он виделся ей все время одним и тем же: в углу за радиолами, которые он так любил чинить в те дни, когда у него не было сеансов радиосвязи с Москвой.

Штирлиц сидел в маленьком вокзальном кафе возле большого стеклянного окна: отсюда ему был виден весь состав.

— Мсье? — спросила толстая улыбчивая официантка.

— Сметаны, пожалуйста, и чашку кофе.

— С молоком?

— Нет, я бы выпил черный кофе.

Официантка принесла ему кофе и взбитую сметану.

— Знаете, — сказал Штирлиц, виновато улыбнувшись, — я не ем взбитую сметану. Это у меня с детства. Я просил обыкновенную сметану, просто полстакана сметаны.

Официантка сказала:

— О, простите, мсье…

Она открыла прейскурант и быстро полистала его.

— У нас сметана восьми сортов, есть и взбитая, и с вареньем, и с сыром, а вот простой сметаны у нас нет. Пожалуйста, простите меня. Я пойду

к повару и попрошу его придумать что-нибудь для вас. У нас не едят простую сметану, но я постараюсь что-нибудь сделать…

«У них не едят простую сметану, — подумал Штирлиц. — А у нас мечтают о простой корке хлеба. А здесь нейтралитет: восемь сортов сметаны, предпочитают взбитую. Как, наверное, хорошо, когда нейтралитет. И для человека, и для государства… Только когда пройдут годы, вдруг до тебя дойдет, что, пока ты хранил нейтралитет и ел взбитую сметану, главное-то прошло мимо. Нет, это страшно: всегда хранить нейтралитет. Какой, к черту, нейтралитет? Если бы мы не сломили Гитлера под Сталинградом, он бы оккупировал эту Швейцарию — и тю-тю нейтралитет вместе со взбитой сметаной».

— Мсье, вот простая сметана. Она будет стоить несколько дороже, потому что такой нет в прейскуранте.

Штирлиц вдруг засмеялся.

— Хорошо, — сказал он. — Это не важно. Спасибо вам.

Поезд медленно тронулся. Он смотрел во все окна, но лица Кэт так и не увидел: наверное, она забилась в купе, как мышка, со своими малышами.

Он проводил глазами ушедший состав и поднялся из-за стола. Сметану он так и не съел, а кофе выпил.

Молотов вызвал посла Великобритании сэра Арчибальда Кэрра в Кремль к восьми часам вечера. Молотов не стал приглашать посла США Гарримана, зная, что Кэрр — опытный кадровый разведчик и вести с ним разговор можно будет без той доли излишней эмоциональности, которую обычно вносил Гарриман.

Трижды сдавив большим и указательным пальцами картонный мундштук «Казбека», Молотов закурил: он слыл заядлым курильщиком, хотя никогда не затягивался. Он был подчеркнуто сух с Кэрром, и острые темные глаза его поблескивали из-под стекол пенсне хмуро и настороженно. Беседа была короткой: Кэрр, просмотрев ноту, переданную ему переводчиком наркома Павловым, сказал, что он незамедлительно доведет ее текст до сведения правительства его величества.

> «Подтверждая получение Вашего письма… по поводу переговоров в Берне между германским генералом Вольфом и офицерами из штаба фельдмаршала Александера, я должен сказать, что Совет-

ское правительство в данном деле видит не недоразумение, а нечто худшее.

Из Вашего письма от 12 марта, как и приложенной к нему телеграммы от 11 марта фельдмаршала Александера Объединенному штабу, видно, что германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда Советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, Советское правительство получило в этом отказ.

Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования – с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым…

В. МОЛОТОВ».

Реакция Бормана на донесение Штирлица о подробностях переговоров Вольфа и Даллеса была неожиданной: он испытывал мстительное чувство радости. Аналитик, он сумел понять, что его радость была похожа на ту, которая свойственна завистливым стареющим женщинам.

Борман верил в психотерапию. Он почти никогда не принимал лекарств. Он раздевался донага, заставлял себя входить в состояние транса и устремлял заряд воли на больную часть организма. Он вылечивал фолликулярную ангину за день, простуду переносил на ногах; он умел лечить зависть, переламывать в себе тоску — никто и не знал, что он в юности был подвержен

страшным приступам ипохондрии. Так же он умел лечить и такую вот, остро вспыхнувшую в нем, недостойную радость.

— Это Борман, — сказал рейхсляйтер в трубку, — здравствуйте, Кальтенбруннер. Я прошу вас приехать ко мне — незамедлительно.

«Да, — продолжал думать Борман, — действовать надо осторожно, через Кальтенбруннера. И Кальтенбруннеру я ничего не скажу. Я только попрошу его повторно вызвать Вольфа в Берлин; я скажу Кальтенбруннеру, что Вольф, по моим сведениям, изменяет делу рейхсфюрера. Я попрошу его ничего не передавать моему другу Гиммлеру, чтобы не травмировать его попусту. Я прикажу Кальтенбруннеру взять Вольфа под арест и выбить из него правду. А уже после того как Вольф даст показания и они будут запротоколированы и положены лично Кальтенбруннером на мой стол, я покажу это фюреру, и Гиммлеру придет конец. И тогда я останусь один возле Гитлера. Геббельс — истерик, он не в счет, да и потом, он не знает того, что знаю я. У него много идей, но нет денег. А у меня останутся их идеи и деньги партии. Я не повторю их ошибок — и я буду победителем».

Как и всякий аппаратчик, проработавший

«под фюрером» много лет, Борман в своих умопостроениях допускал лишь одну ошибку: он считал, что он все может, все умеет и все понимает объемнее, чем его соперники. Считая себя идеологическим организатором национал-социалистского движения, Борман свысока относился к деталям, частностям — словом, ко всему, что составляет понятие «профессионализм».

Это его и подвело. Кальтенбруннер, естественно, ничего не сказал Гиммлеру — таково было указание рейхсляйтера. Он повторно приказал немедленно вызвать из Италии Карла Вольфа. В громадном аппарате РСХА ничего не проходило без пристального внимания Мюллера и Шелленберга. Радист при ставке Кальтенбруннера, завербованный людьми Шелленберга, сообщил своему негласному начальству о совершенно секретной телеграмме, отправленной в Италию: «Проследить за вылетом Вольфа в Берлин». Шелленберг понял — тревога! Дальше — проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна — тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригаденфюрер СС,

начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце «дорнье» подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.

Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа: они лишь проследили за машиной Шелленберга. Бригаденфюрер СС отвез обергруппенфюрера СС Вольфа на квартиру генерала Фегеляйна, личного представителя Гиммлера в ставке фюрера. То, что там уже находился Гиммлер, не остановило бы Бормана. Его остановило другое: Фегеляйн был женат на сестре Евы Браун и, таким образом, являлся прямым родственником Гитлера. Фюрер даже называл его за чаем «мой милый шурин»…

Гиммлер, включив на всю мощность радио, кричал на Вольфа:

— Вы провалили операцию и подставили под удар меня, ясно вам это?! Каким образом Борман и Кальтенбруннер узнали о ваших переговорах?! Как ищейки этого негодяя Мюллера могли все пронюхать?!

Шелленберг дождался, пока Гиммлер кончил кричать, а после негромко и очень спокойно сказал:

— Рейхсфюрер, вы, вероятно, помните: все частности этого дела должен был подготовить я. У меня все в порядке с операцией прикрытия. Я придумал для Вольфа легенду: он внедрялся в ряды заговорщиков, которые действительно ищут путей к сепаратному миру в Берне. Все частности мы обговорим здесь же. И здесь же под мою диктовку Вольф напишет рапорт на ваше имя об этих раскрытых нами, разведкой СС, переговорах с американцами.

Борман понял, что проиграл, когда Гиммлер и Шелленберг с Вольфом вышли от фюрера. Пожимая руку Вольфу и принося ему «самую искреннюю благодарность за мужество и верность», Борман обдумывал, стоит ли вызвать Штирлица и устроить очную ставку с этим молочнолицым негодяем Вольфом, который предавал фюрера в Берне. Он думал об этом и после того, как Гиммлер увел свою банду, успокоенный победой над ним, Борманом.

Он не смог принять определенного решения. И тогда он вспомнил о Мюллере.

«Да, — решил он, — я должен вызвать этого че-

ловека. С Мюллером я обговорю все возможности, и о Штирлице я поговорю с ним. У меня все равно остается шанс: данные Штирлица. Они могут прозвучать на партийном суде над Вольфом».

— Говорит Борман, — глухо сказал он телефонисту. — Вызовите ко мне Мюллера.

«Лично и секретно
От премьера И. В. Сталина
Президенту г-ну Ф. Рузвельту

1....Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во вся-

ком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на Западном

фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле…»

Штирлиц получил приказ от Шелленберга возвратиться в рейх: необходим его личный рапорт фюреру о той работе, которую он провел по срыву «предательских переговоров изменника Шлага в Берне».

Штирлиц не мог выехать в Берлин, потому что он каждый день ждал связника из Центра: нельзя продолжать работу, не имея надежной связи.

Приезд связника также должен был означать, что с Кэт все в порядке и что его донесение дошло до ГКО и Политбюро. Он покупал советские газеты и поражался: дома всем казалось, что дни рейха сочтены и никаких неожиданностей не предвидится.

А он, как никто другой, особенно сейчас, проникнув в тайну переговоров с Западом, зная изнутри потенциальную мощь германской армии и индустрии, опасался трагических неожиданностей — и чем дальше, тем больше.

Он понимал, что, возвращаясь в Берлин, он сует голову в петлю. Возвращаться туда одному, чтобы просто погибнуть, — это не дело. Штирлиц научился рассуждать о своей жизни со стороны, как о некой категории, существующей обособленно от него. Вернуться туда, имея надежную связь, которая бы гарантировала немедленный и надежный контакт с Москвой, имело смысл. В противном случае можно было выходить из игры: он сделал свое дело.

17.3.1945 (22 часа 57 минут)

Они встретились в ночном баре, как и было уговорено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и бес-

путно-красивая. Она все время шептала ему:

— О нас, математиках, говорят как о сухарях! Ложь! В любви я Эйнштейн! Я хочу быть с вами, седой красавец!

Штирлиц никак не мог от нее отвязаться; он уже узнал связника по трубке, портфелю и бумажнику, он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички.

— Иди на улицу, — сказал Штирлиц. — Я сейчас выйду.

Связник передал ему, что Центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако если Юстас чувствует в себе силы, то Центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом Центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в ГКО и президиум Верховного совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворд». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь: два радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надежны, они

были «законсервированы» два года назад.

Штирлиц спросил связника:

— Как у вас со временем? Если есть десять минут, тогда я напишу маленькую записочку.

— Десять минут у меня есть — я успею на парижский поезд. Только…

— Я напишу по-французски, — улыбнулся Штирлиц, — левой рукой и без адреса. Адрес знают в Центре, там передадут.

— С вами страшно говорить, — заметил связник, — вы ясновидящий.

— Какой я ясновидящий…

Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. Курил он неумело, отметил для себя Штирлиц, видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам: он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы.

«Обидится, если сказать? — подумал Штирлиц, вырвав из блокнота три маленьких листочка. — Пусть обидится, а сказать надо».

— Друг, — заметил он, — когда курите сигарету — помните, что она отличается от папиросы.

— Спасибо, — ответил связник, — но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так.

— Это ничего, — сказал Штирлиц, — это вы

меня лихо подлопатили. Молодец. Не сердитесь.

— Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы…

— Заботлив? — переспросил Штирлиц. Он испугался, не сразу вспомнил значение этого русского слова.

«Любовь моя, — начал писать он, — я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже…»

Когда он попросил связника подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами: и его первая встреча с ней во владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными, далями, которые казались литым продолжением моря.

Они остановились возле рыбаков — их шаланды были раскрашены на манер японских в сине-красно-желтые цвета, только вместо драконов носы шаланд украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами.

Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые,

жирные — тунцы. Паренек лет четырнадцати варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета — и травы, и моря, и неба, и даже костра, который в другое время был бы красно-голубым, зримым.

— Хороша будет ушица? — спросил он тогда.

— Жирная уха, — ответил старшина артели, — оттягивает и зеленит.

— Это как? — спросила Сашенька удивленно. — Зеленит?

— А молодой с нее делаешься, — ответил старик, — здоровый… Ну а коли молодо — так оно ж и зелено. Не побрезгуйте откушать.

Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника Генерального штаба, поэтесса, откажется «откушать» ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку, но Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала:

— Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимыч!

Она спросила старика-артельщика:

— Можно еще?

— Кушайте, барышня, кушайте, — ответил старик, — нам-то она в привычку, мы морем

балованы.

— Вы говорите очень хорошо, — заметила Сашенька, дуя на горячую уху, — очень красиво, дедушка.

— Да что вы, барышня, — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов, — я ж попростому говорю, как внутри себя слышу.

— Поэтому у вас слова такие большие, — серьезно сказала Сашенька, — не стертые.

Артельщик снова рассмеялся:

— Да нешто слова стереть можно? Это копейку стереть, пока с рук в руки тычешь, а слово — оно ведь будто воздух, летает себе и веса не имеет…

…В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж: открывали экспозицию полотен семнадцатого века — заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в иркутской и читинской галереях. На открытие приехал брат премьера — министр иностранных дел Николай Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал:

— Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и неученые! А вот полюбуйтесь — такие картины уж двести лет назад рисовали! И похоже, и каждая деталька прописана, и уж ежели

поле нарисовано — так рожью пахнет, а не «бубновым вальтом»!

— Валетом, — машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимыч услышал ее и чуть пожал ее пальцы.

Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.

— А говорят, интеллигентных владык у нас нет! — шумел кто-то из газетчиков. — Культурнейший же человек Меркулов! Воспитанный, образованный! Интеллигент!

Штирлиц хотел написать ей про то, как он до сих пор помнит ту ночь на таежной заимке, когда она сидела возле маленького слюдяного оконца и была громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными, тихими. Он никогда раньше не испытывал того чувства покоя, какое судьба подарила ему в тревожную, трагическую ночь…

Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо: и в карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо противоречило густой

категоричности масла, которое предполагает в портрете не только сходство, но и необходимую законченность, а Сашеньку Штирлиц открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные ею, семнадцатилетней, и поражался, по прошествии многих лет, глубине и нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к собеседнику — кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда: «Мне совестно за вас, господа. Ваши подозрения безнравственны».

Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже на книжных развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке: «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь...»

Прочитав эти строки, Штирлиц второй раз в жизни заплакал. Он заплакал первый раз, когда, вернувшись из первой своей чекистской поездки за кордон, увидел могилу отца. Старик начинал с Плехановым. Его повесили белоказаки весной двадцать первого года. Он заплакал, когда остался один, плакал по-детски, жалобно всхлипывая, но не этого стыдился он, а просто ему казалось, что его горе должно жить в нем как память. Отец

его принадлежал многим людям, а вот память о папе принадлежала ему одному, и это была особая память, и подпускать к ней Штирлиц никого не хотел, да и не мог. А тогда в Париже на книжном развале он заплакал неожиданно для самого себя, потому что в этих строках он увидел чувство, которое было так нужно ему и которого он — за всю жизнь свою — так и не пережил, не ощутил. За строчками этими он увидел все то, что он так явственно представлял себе, о чем он мечтал, но чего не имел — ни одной минуты.

Ну как же сейчас написать Сашеньке, как осенью — он точно помнил тот день и час: семнадцатого октября сорокового года — он пересекал Фридрихштрассе и вдруг увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки, и как он пошел к ней, забыв на мгновение про то, что он не может этого делать, и как, услыхав ее голос и поняв, что это не Сашенька, тем не менее шел следом за той женщиной, шел, пока она дважды не обернулась — удивленно, а после — рассерженно.

Ну как написать ей, что он тогда три раза просил Центр отозвать его и ему обещали это, но началась война…

Как может он сейчас все видения, пронесшиеся перед глазами, уместить в слова?

И он начал переводить строчки Пастернака на французский и писал их, как прозу, в строку, но потом понял, что делать этого нельзя, потому что умный враг и эти стихи может обратить в улику против парня, который пьет апельсиновый сок и курит сигарету так, как это сейчас модно там, где он жил. И он положил этот листок в карман (машинально отметив, что сжечь его удобнее всего будет в машине) и приписал к тем строчкам, которыми он начал письмо: «Это произойдет, как я думаю, в самом ближайшем будущем».

Ну как написать ей о встрече с сыном — избравшим его, отцовский, столь многотрудный путь, «господин Гришанчиков», — в Кракове летом прошлого года? Как сказать ей, что мальчик сейчас в Праге и что сердце его разрывается между нею и Сашей-маленьким, который без него стал Сашей-большим? Как сказать ей о любви своей и о горе — что ее нет рядом, и о том, как он ждет дня, когда сможет ее увидеть? Слова сильны только тогда, когда они сложились в Библию или в стихи Пушкина… А так — мусор они, да и только. Штирлиц закончил письмо: «Я целую тебя и люблю».

«Как можно словами выразить мою тоску и лю-

бовь? — продолжал думать он. — Они стертые, эти мои слова, как старые монеты. Она любит меня, поэтому она поверит и этим моим стертым гривенникам…

Нельзя мне ей так писать: слишком мало мы пробыли вместе, и так долго она живет теми днями, что мы были вместе. Она и любит-то меня того, дальнего, — так можно ли мне писать ей так?»

— Знаете, — сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, — вы правы, не стоит это тащить вам через три границы. Вы правы, простите, что я отнял у вас время.

18.3.1945 (16 часов 31 минута)

«Начальнику IV отдела Сов. секретно.

управления имперской безопасности Напечатано

обергруппенфюреру СС Мюллеру в 2 экземплярах.

Прага.

Мой дорогой обергруппенфюрер!

После получения исторического приказа фюрера о превращении каждого города и каждого дома в неприступную крепость я заново изучил ситуацию в Праге,

которая должна стать – наравне с Веной и альпийским редутом – центром решительной битвы против большевизма.

К работе по превращению Праги в форпост предстоящих сражений мною привлечен полковник армейской разведки Берг, который, как мне известно, был знаком Вам по активной проверке в связи с делом врага нации Канариса. Он оказывает мне реальную помощь потому еще, что с ним работает завербованный русский агент Гришанчиков, высоко оцененный сотрудником центрального аппарата штандартенфюрером СС фон Штирлицем. Этот Гришанчиков ныне весьма активно исследует людей из армии генерала Власова, составляя для меня весьма интересные досье.

Поскольку работа двух этих людей связана с высшими секретами рейха, просил бы Вас организовать дополнительную проверку как полковника Берга, так и агента Гришанчикова.

Позволю себе также просить Вас сообщать мне изредка все относящееся к работе IV отдела, связанное с пражским

узлом, понимая при этом, что мои обязанности не входят ни в какое сравнение с Вашей поистине гигантской работой по подготовке нашей окончательной победы.

Хайль Гитлер!

Ваш КРЮГЕР».

Мюллер недоумевающе прочитал это письмо и написал рассерженную резолюцию: «Айсману. Никакого Берга я не знал и не знаю. Тем более русского Гришанчикова. Организуйте проверку и не отрывайте меня более такого рода деталями от серьезной работы. Мюллер».

Получив этот документ, Айсман споткнулся на том месте, где Крюгер писал, что русский Гришанчиков был высоко оценен Штирлицем.

Айсман позвонил в архив и сказал:

— Пожалуйста, подготовьте мне все, абсолютно все материалы о поездке Штирлица в Краков и о его контактах с лицами низшей расы…

18.3.1945 (16 часов 33 минуты)

Мотор «хорьха» урчал мощно и ровно. Бело-голубой указатель на автостраде показывал двести сорок семь километров до Берлина. Снег уже

сошел. Земля была устлана ржавыми дубовыми листьями. Воздух в лесу был тугим, синим.

«Семнадцать мгновений апреля, — транслировали по радио песенку Марики Рокк, — останутся в сердце твоем. Я верю, вокруг нас всегда будет музыка, и деревья будут кружиться в вальсе, и только чайка, подхваченная стремниной, утонет, и ты не сможешь ей помочь…»

Штирлиц резко затормозил. Движения на трассе не было, и он бросил свой автомобиль, не отогнав его на обочину. Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая трава. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками. Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней холодной земле и гладить ее руками…

Москва – Берлин – Нью-Йорк
1968